ВИКТОР ГЮГО

Том 4. Отверженные (часть I)
Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Собрание сочинений в 10 томах. Том 4
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Часть I. ФАНТИНА
КНИГА ПЕРВАЯ. ПРАВЕДНИК
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Шарль Мириэль
ГЛАВА ВТОРАЯ. Священник Мириэль превращается в Монсеньора Бьенвеню
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Доброму епископу трудная епархия
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Слово не расходится с делом
ГЛАВА ПЯТАЯ. О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Кому он поручил охранять свой дом
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Кравать
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Философия за стаканом вина
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Сестра о брате
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Епископ перед неведомым

светом
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Оговорка
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Одиночество монсеньора Бьенвеню
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Во что он верил
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. О чем он думал
КНИГА ВТОРАЯ. ПАДЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. После целого дня ходьбы
ГЛАВА ВТОРАЯ. Мудрость, предостерегаемая благоразумием
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Героизм слепого повиновения
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье
ГЛАВА ПЯТАЯ. Спокойствие
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Жан Вальжан
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Глубина отчаянья
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Море и мрак
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Новые горести
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Человек проснулся
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Что он делает
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Епископ за работой
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Малыш Жерве
КНИГА ТРЕТЬЯ. В 1817 ГОДУ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1817 год
ГЛАВА ВТОРАЯ. Двойной квартет

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Четыре пары
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Толомьес так весел, что поет испанскую песенку
ГЛАВА ПЯТАЯ. У бомбарды
ГЛАВА ШЕСТАЯ,. в которой все обожают друг друга
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Мудрость Толомьеса
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Смерть лошади
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Весел конец веселья
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ДОВЕРИТЬ ДРУГОМУ — ЗНАЧИТ ИНОГДА БРОСИТЬ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ,. в которой одна мать встречает другую
ГЛАВА ВТОРАЯ. Беглая характеристика двух темных личностей
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Жаворонок
КНИГА ПЯТАЯ. ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла
ГЛАВА ВТОРАЯ. Мадлен
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Суммы депонированные у Лафита
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Господин Мадлен в трауре
ГЛАВА ПЯТАЯ. Зарницы

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Дедушка Фошлеван
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Фошлеван становится садовником в Париже
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Госпожа Виктюрньен тратит тридцать пять франков во имя нравственности
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Торжество госпожи Виктюрньен
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Последствия торжества
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Christus nos liberavit
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Досуги господина Баматабуа
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции
КНИГА ШЕСТАЯ. ЖАВЕР
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Начало умиротворения
ГЛАВА ВТОРАЯ. Каким образом Жан может превратиться в Шана
КНИГА СЕДЬМАЯ. ДЕЛО ШАНМАТЬЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Сестра Симплиция
ГЛАВА ВТОРАЯ. Проницательность дядюшки Скофлера
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Буря в душе
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Страдание принимает во

сне странные образы
ГЛАВА ПЯТАЯ. Палки в колесах
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Испытание сестры Симплиции
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Приезжий обеспечивает себе обратный путь
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Вход для избранных
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Место, где складываются убеждения
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Система запирательства
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Удивление Шанматье растет
КНИГА ВОСЬМАЯ. УДАР РИКОШЕТОМ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы
ГЛАВА ВТОРАЯ. Фантина счастлива
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Жавер доволен
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Законная власть восстанавливает свои права
ГЛАВА ПЯТАЯ. По мертвецу и могила

Аннотация

Компиляция. Перевод соответствует изданию.

ВИКТОР ГЮГО

Виктор Гюго
Собрание сочинений в 10 томах
Том 4

ОТВЕРЖЕННЫЕ

До тех пор, пока в силу законов общества и его нравов над человеком будет тяготеть проклятие, которое в эпоху расцвета цивилизации создает для него ад на земле и отягчает его судьбу, зависящую от бога, пагубными усилиями людей; до тех пор, пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века: угнетение мужчины, принадлежащего к классу пролетариата, падение женщины по причине голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор, пока в некоторых слоях общества будет существовать застой; иными словами и беря шире — до тех пор, пока на земле не перестанут царить нужда и невежество,— книги, подобные этой, будут, пожалуй, небесполезны.

Отвиль-Хауз, 1862 г.

Часть I
ФАНТИНА
КНИГА ПЕРВАЯ
ПРАВЕДНИК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Шарль Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; епископскую кафедру в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, все-таки будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его поступки. Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь

обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько маловат ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот произошла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель семьи, трагические события 93-го года, быть может еще более грозные для эмигрантов, следивших за ними издалека со все возрастающим страхом, — не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений внезапно поражен одним из тех таинственных и

грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, даже если она разбивает ему жизнь и уничтожает его материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; известно было лишь, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, — теперь уже трудно установить, какое именно, — привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

— Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

— Государь, — ответил Мириэль. — Вы видите доброго человека, а я — великого. Каждый из нас

может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мириеля, никто не знал. Семья Мириеля была мало известна до революции.

Мириелю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря, если прибегнуть к выразительному языку южан, *околесица*.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти россказни и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде «служанкой кюре», получила теперь двойное звание: «горничной мадмуазель Батистины» и «экономки его преосвященства».

Батистина была высокая, бледная, худощавая, кроткая девушка. Она олицетворяла собой идеал всего, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку светился ангел. Это была девственница, более того — это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу,

словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых, из-за мучившей ее астмы.

Когда Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после бригадного генерала. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал Мириэль.

Когда епископ вступил в управление епархией, город стал ждать, как он проявит себя на деле.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Священник Мириэль превращается в Монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Дворец представлял собой огромное, прекрасное каменное здание, построенное вначале прошлого столетия Анри Пюже — доктором богословия Парижского университета, аббатом

Симорским, с 1712 года епископом Диньским Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой — длинной н роскошной галерее, расположенной в нижнем этаже и выходившей в сад, Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, на котором присутствовали Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ и князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции, аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, а знаменательная дата — 29 июля 1714 года — была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

Мириэль не имел состояния, его семья была разорена во время революции. Сестра его пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, распределил эту сумму следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОИХ ДОМАШНИХ РАСХОДОВ

На малую семинарию — тысяча пятьсот ливров

Миссионерской конгрегации — сто ливров

На лазаристов в Мондидье — сто ливров

Семинарии иностранных духовных миссий в Париже — двести ливров

Конгрегации св. Духа — сто пятьдесят ливров

Духовным заведениям Святой Земли — сто ливров

Обществам призрения сирот — сто ливров

Сверх того, тем же обществам в Арле — пятьдесят ливров

Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем — четыреста ливров

Благотворительному обществу вспомоществования заключенным и их освобождения — пятьсот ливров

На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств — тысяча ливров

На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии — две тысячи ливров

На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп — сто ливров

Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей — тысяча пятьсот ливров

На бедных — шесть тысяч ливров

На мои личные расходы — тысяча ливров

Итого — пятнадцать тысяч ливров.

— Господни смотритель! Сколько больных у вас в настоящее время? — спросил он.

— Двадцать шесть, ваше преосвященство.

— Да, я насчитал столько же, — подтвердил епископ.

— Кровати стоят слишком близко одна к другой, — добавил смотритель.

— Да, я заметил.

— Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

— И мне так показалось.

— А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих.

— Я тоже об этом подумал.

— Во время эпидемий — в нынешнем году был тиф, а два года тому назад горячка — у нас бывает иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

— Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

— Ничего не поделаешь, ваше преосвященство, — сказал смотритель, — приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

— Сударь, — спросил он смотрителя больницы, — сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

— В столовой вашего преосвященства? — с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комната взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

— Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, — сказал он как бы про себя. — Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать, — продолжал он громче. — Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева — вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как видим, он называл ее сметой распределения своих домашних расходов.

Батистина приняла такое распределение

средств с полнейшей покорностью. Для этой святой души епископ Диньский являлся одновременно и братом и пастырем; другом — по закону кровного родства и наставником — по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала и не возражала, когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, Маглуар, тихонько ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старушки и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии Маглуар и умелому хозяйничанью Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды — это было месяца через три после его прибытия в Динь — он сказал:

— А все-таки я очень стеснен в средствах!

— Еще бы! — вскричала Маглуар. — Ведь ваше преосвященство не стребовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда

пользовались этими деньгами.

— А ведь верно! — сказал епископ. — Госпожа Маглуар! Вы совершенно правы.

Он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование преосвященнейшему владыке на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это вызвало шум среди местной буржуазии; один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал в раздраженном тоне министру вероисповеданий Биго де Преамене конфиденциальную записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ез-

дить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну, и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Священники все на один лад — жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает, как все. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох уж эти мне попы! Поверьте, ваше сиятельство, до тех пор. пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Я за Цезаря, и только за Цезаря. И т.д. и т.д.».

Зато эти деньги очень обрадовали Маглуар.

— Вот и хорошо, — сказала она Батистине — Его преосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКИПАЖА И НА РАЗЪЕЗДЫ

На мясной бульон для лазаретных — тысяча пятьсот ливров больных

На общество призрения сирот в Эксе — двести пятьдесят ливров

На общество призрения сирот в Драгиньяне — двести пятьдесят ливров

На подкидышей — пятьсот ливров

На сирот — пятьсот ливров

Итого — три тысячи ливров

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний т.д., то епископ ревностно взимал деньги с богатых, но все до последнего гроша отдавал бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие — все стучались в двери Мариэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу,

чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, — так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И он грабил самого себя.

По обычаю епископы проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»[1]. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, — говаривал он — Бьенвеню служит поправкой к „монсеньору“.

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем одно — он правдив.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] Примечания: 1
Бьенвеню (bienvenu) — желанный; желанный гость (*франц.*)

Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять приходских церквей. Объехать все это — нелегкое дело. Но епископ преодолевал трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке — если предстояло ехать по равнине, и верхом — в горы. Старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как его преосвященство слезает с осла. Горожане вокруг пересмеивались.

— Господин мэр и вы, господа горожане! — ска-

зал епископ. — Мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я приехал на осле по необходимости, а вовсе не из тщеславия.

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил:

— Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые приходят в негодность. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства.

В деревнях, где люди были падки до наживы и стремились поскорее убрать с поля свой урожай, он говорил:

— Посмотрите на жителей Амбрена Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболеет во время жатвы и не может работать, то священник упо-

минает о нем в проповеди, и в воскресенье после обедни все поселяне-мужчины, женщины, дети — идут на поле этого бедняги, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар.

Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил:

— Посмотрите на горцев Девольни, той дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей.

В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил:

— Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; он выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку.

В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев.

— Знаете, как они поступают? — говорил он. — Маленькое селеньице в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают наставников, которые и учат детей, переходя из деревни в деревню и проводя неделю в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, — два, а те, которые обучают грамоте, счету и латыни, — три. Эти последние — великие ученые. Ну не стыдно ли оставаться невеждами? Поступайте же, как кейрасцы.

Таковы были его речи, глубокомысленные и отечески — заботливые; если ему не хватало примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, — этой особенностью отличалось и красноречие Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительнее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старых женщин, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Маглуар любила называть его ваше «высокопреподобие». Однажды, встав с кресла, он подошел к книжному шкафу за книгой. Книга стояла на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее.

— Госпожа Маглуар! — сказал он. — Принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки.

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей У нее было несколько престарелых, близких к смерти родственников по восходящей линии, и сыновья ее являлись их прямыми наследниками. Младшему сыну предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал

это простодушное н простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда де Ло без конца излагала со всеми подробностями все эти наследования и все эти «надежды», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады:

— Ах, боже мой! О чем вы задумались?

— Я думаю, — ответил епископ, — об одном странном изречении, которое я нашел, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только звания покойного, но и все ленные и аристократические титулы его родных, епископ вскричал:

— Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они воспользоваться для утоления своего тщеславия даже могилой!

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь.

Он оказался довольно красноречив. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил блаженным и прекрасным. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, он же и ростовщик, Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После угон проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре:

— Посмотри! Вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного.

Когда дело касалось сбора милостыни, епископа, не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый, богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и уль-

травольтерианцем, — подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо.

— Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз.

Маркиз оглянулся и сухо возразил:

— Ваше преосвященство! У меня есть свои бедные.

— Так отдайте их мне, — сказал епископ. Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

— Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои! Во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями — дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие — дверь. Причиной этому является налог на двери и окна. Поселите в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей — вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у ник нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные смо-

лой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп и Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ к сердцам. В хижинах и в горах он чувствовал себя как дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил:

— Проследим путь, по которому прошел грех.

«Бывший грешник» — так он с улыбкой называл себя сам, — он не впадал в крайности ригоризма и открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым

святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей лишь в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но такой грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым — исключение; быть справедливым — правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить — вот закон для человека. Совсем не грешить — это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда люди начинали громко кричать и спешили выразить свое возмущение, он говорил, улыбаясь:

— Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, на которое способен каждый. Вот почему те, у кого совесть нечиста, испугались и спешат отвести от себя подозрение.

Он был снисходителен к женщинам и бедня-

кам, презираемым обществом. Он говорил:

— В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые.

Еще он говорил:

— Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что у нас нет бесплатного обучения; оно несет ответственность за темноту. Когда душа полна мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто порождает мрак.

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о разных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услыхал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре долженбыл состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму; улики имелись только против нее. Она могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его

вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову мысль: он оклеветал любовника, обвинив его в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии и восхищались ловкостью прокурора. Вызвав ревность, он из гнева извлек истину, а из мести — правосудие. Епископ слушал молча. Наконец он спросил:

— Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

— В суде присяжных.

— А где будут судить королевского прокурора? — спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не очень образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и ходатаем по делам. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне

дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы в таких выражениях:

— Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место.

Его ответ был передан епископу, и тот сказал:

— Кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне.

Он сейчас же отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти свою душу. Он рассказал ему о величайших истинах, которые в то же время являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, — епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И с трепетом стоя у этого зловещего

порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспрестанно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, еще накануне угрюмый и подавленный, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его умиротворилась, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему:

— Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там.

Когда он спустился с эшафота, в его глазах светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало

— бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре:

— Я только что отслужил торжественную панихиду.

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали:

— Это желание порисоваться.

Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

А для епископа зрелище гильотины явилось ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее — потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить: против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина

— это сгусток закона, имя ее — *vindicta*[2], она сама не нейтральна и не позволяет оставаться нейтральным вам. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот-это видение. Эшафот — не помост, эшафот — не машина, эшафот — не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной зловещей инициативой, можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь Эшафот — это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое;

---

[2] Примечания: 2
Наказание (*лат.*)

на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественнее спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который, выполнив любую свою обязанность, испытывал обычно радость удовлетворения, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра:

— Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Каждый мог в любое время дня и ночи позвать епископа Мириэля к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд.

Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он целыми часами молча просиживал рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, напротив, он старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил:

— Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах — то душа вашего дорогого усопшего.

Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, вперившую взор в могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.

ГЛАВА ПЯТАЯ
О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил епископ

Диньский, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедня съедал за завтраком ржаного хлеба и запивал его молоком от своих коров. Потом работал.

Епископ — очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии (обычно это каноник) н почти каждый день — старт их викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые тома духовной литературы — молитвенники, катехизисы, часословы и т.д. и т.д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и — мэров, вести корреспонденцию с духовными особами, вести корреспонденцию с гражданскими властями: с одной стороны — государство, с другой — папский престол. Словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он

в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, которое оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и для другой работы у него было одно название — «садовничать». Ум — это сад», — говорил он.

В полдень, если погода была хорошая, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных, когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил своя сутаны и не

хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без теплой фиолетовой мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а Маглуар прислуживала им за столом. Это были в высшей степени скромные трапезы. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Любой священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из вареных овощей и постного супа. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монахи.

После ужина он с полчаса беседовал с Батистиной и Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный, даже в известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них

рассуждение на стих из книги Бытия «Вначале дух божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами-с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горний ветер устремился на землю»; и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он разбирает богословские труды епископа Птолемаидского Гюго, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда во время чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к книге, в которую они были вписаны. Перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: *Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набе-*

режная Августинцев.

Вот эта заметка:

> «О ты, Сущий!
>
> Екклезиаст именует тебя Всемогущим, Книга Маккавеев — Творцом, Послание к ефесянам — Свободой, Барух — Необъятностью, Псалтирь — Мудростью и Истиной, Иоанн — Светом, Книга Царств — Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит — Святостью, Ездра — Справедливостью, вселенная — Богом, человек — Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался в нижнем этаже один.

Здесь необходимо дать точное представление о жилище епископа Диньского.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили,

был двухэтажный: три комнаты внизу, три наверху, под крышей — чердак. За домом — сад в четверть арпана. Женщины занимали второй этаж, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая — спальней, третья — молельней. Выйти из молельни можно было только через спальню, а из спальни — только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял сельским священникам, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека — небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад. — превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду стоял хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали коровы, епископ каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», — говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там

себе комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой мебель состояла из простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой стоял еще старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, накрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни его преосвященства; епископ брал деньги и раздавал их бедным.

— Лучший алтарь, — говорил он, — это душа несчастного, который утешился и благодарит бога.

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей — префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона,

нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек; тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье искрошилась, да и держался он на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м — ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтою, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой: на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести для гостиной мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков; увидев, что за пять лет ей удалось отло-

жить только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери — кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, — изящные туалетные принадлежности, свидетельствующие о том, что здесь живет человек, не утративший светских привычек; еще две двери: одна возле камина — в молельню, другая возле книжного шкафа — в столовую; набитый книгами шкаф со стеклянными дверцами; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор, обычно нетопленный, в камине две железные подставки для дров, украшенные сверху двумя вазами в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром и считавшимися образцом роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, — распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом кресло с соломенным сиденьем. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, золотыми буквами на тусклом фоне холста, уведомляли о том, что портреты изображают; один — епископа Сен-Клодского Шалио, а другой — Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанокого, принадлежавшего к монашескому ордену Цистерианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их. Это были священнослужители и, по всей вероятности. жертвователи — два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил — первого епископом, а второго викарием — в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда Маглуар сняла портреты, чтобы стереть с них пыль, епископ узнал об этом, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи, занавеска, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую,

Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов напоминал крест. Епископ часто показывал на него.

— Как хорошо получилось! — говорил он.

Все комнаты и в первом и во втором этаже были чисто выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ.

— Это ничего не отнимает у бедных, — говаривал он.

Следует, однако, заметить, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщо-

вой скатерти каждый день радовал взор Маглуар. И так как мы изображаем здесь епископа Диньского таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил:

— Мне было бы не легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой.

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

В спальне епископа, над изголовьем его кровати, висел маленький стенной шкафчик, куда Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

В саду, вид которого портили неприглядные строения, были четыре аллеи, расходившиеся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы.

В саду росли фруктовые деревья. Как-то раз Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства:

— Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки.

— Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, — ответил епископ. — Прекрасное столь же полезно, как и полезное.

И, помолчав, добавил:

— Быть может, еще полезнее.

Три-четыре грядки, разбитые на этом квадрате земли, пожалуй, не меньше занимали епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час-два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и бросая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался ни в защиту Жюсье, ни в защиту Линнея. Он не изучал растений, он просто любил цветы. Он глубоко уважал

людей ученых, но еще более уважал людей несведущих и, отдавая дань уважения тем и другим, каждый летний вечер поливал грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, — стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда отпертая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Диньский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите» В конце концов они прониклись его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысли: «Вот в чем тончайшее различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда отперта».

На другой книге, под заглавием Философия

медицинской науки, он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть больные; во-первых, те, которых врачи называют своими, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет».

Однажды некий достойный кюре — не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьери — вздумал, должно быть, по наущению Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кто бы ни пожелал войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: *Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt earm*[3]. И заговорил о другом.

Он часто повторял:

— Священник должен обладать не меньшим

---

[3] Примечания: 3

Если господь не охраняет дом, вотще сторожат охраняющие его (*лат.*)

мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, — добавлял он, — должно быть спокойным.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кравat

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был епископ Диньский.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который скрывался прежде в Олиульских ущельях, один из ближайших его помощников, Кравat, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами, уцелевшими от разгрома шайки Гаспара Бэ, в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, низкими берегами рек Ибайи и Ибайеты, пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал

от них, а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Кравать хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем, — это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

— Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя, — сказал епископ.

— Хорошо ли вы обдумали это, ваше преосвященство? — спросил мэр.

— Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

— Уедете?

— Уеду.

— Один?

— Один.

— Нет, ваше преосвященство! Вы не уедете.

— Послушайте, — сказал епископ, — там, в горах, есть маленький бедный приход, я не посещал его уже три года. Там живут мои добрые друзья — смирные и честные пастухи. Из тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти красивые разноцветные

шнурки и играют на самодельных свирелях. Надо, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который подвержен страху? Что бы они сказали, если бы я не приехал к ним?

— Но разбойники, ваше преосвященство, разбойники!

— В самом деле, — сказал епископ, — я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о боге.

— Ваше преосвященство, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

— Господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!

— Ваше преосвященство, они ограбят вас!

— У меня ничего нет.

— Они вас убьют!

— Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полноте! Зачем?

— О боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними!

— Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

— Не ездите, ваше преосвященство, ради бога, не ездите! Вы рискуете жизнью.

— Господин мэр, — сказал епископ, — неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы пещись о собственной жизни, а для того, чтобы пещись о душах моих ближних.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и вызвало беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здрав и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим галуном.

— Ничего, — сказал епископ, — объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквах. Однако

всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подобающим образом одеть даже соборного певчего.

В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника и немедленно ускакали. Ящик открыли, в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох — все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

— Я ведь говорил, что все уладится! — сказал епископ. И добавил, улыбаясь: — Тому, кто довольствуется простым священническим облачением, бог посылает архиепископскую мантию.

— Не знаю, ваше преосвященство, — покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, — бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

— Бог.

На обратном пути в Шателар и в самом Шате-

ларе люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре:

— Ну что, разве я был не прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора.

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал:

— Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки — вот истинные воры; пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку? Будем думать о том, что угрожает нашей душе.

Обратившись к сестре, он сказал:

— Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал из-за нас в грех.

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам

известны; вообще жизнь его текла однообразно: каждый день в определенные часы он делал то же, что и накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбренского собора, то мы затруднились бы ответить на вопрос, что с ними сталось. Это были красивые, соблазнительные вещи, пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена заметка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено — в собор или в больницу».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с препятствиями,

вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шел к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспеяния и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший мелкие услуги своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся, пожалуй, всего лишь детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Порою со снисходительной самоуверенностью он позволял себе шутить над этим даже в присутствии самого Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (то есть сенатору) и Мириэлю привелось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, подвыпивший, но не утративший величественной осанки, вскричал:

— Ваше преосвященство! Давайте побеседуем. Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга,

они не могут не перемигнуться. Мы с вами — два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

— Вы правы, — ответил епископ. — Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

— Давайте говорить откровенно.

— Начистоту, — согласился епископ.

— Я утверждаю, — продолжал сенатор, — что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

— Они похожи на вас, ваше сиятельство, — прервал его епископ.

— Я терпеть не могу Дидро, — продолжал сенатор. — Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер высмеял Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет *fiat lux*[4]. Вообразите каплю покрупнее,

---

[4] Примечания: 4
Да будет свет (*лат.*)

а ложку побольше — и перед вами мир. Человек — это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог? Знаете что, ваше преосвященство, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, ваше преосвященство, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравомыслящий. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа своего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь — это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, или внизу, словом, где-то? Не верю, ни на волос не верю! Ах так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над

добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над *fas* и *nefas*[5]. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти — лови меня, кто может! Заставьте тень схватить рукой горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изиды, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Я твердо стою на земле, ваше преосвященство. Бессмертие человека-это еще вилами на воде писано. Ох уж мне прекрасные обещания! Попробуйте на них положиться! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы — душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, — кажется, Тертуллиан? — что блаженные души будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных

---

[5] Примечания: 5
Правдой! и неправдой (*лат.*)

кузнечиков. А потом узрят бога. Та-та та — чепуха все эти царствия небесные. А бог — чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в Монтере, но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? *Inter pocula*[6]. Пожертвовать землей ради рая — это все равно, что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в бездонную яму. Конец. *Finis*! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне

---

[6] Примечания: 6
За стаканом вина (*лат.*)

— смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать? Да ведь это просто смешно! Бабушкины сказки. Бука — для детей, Иегова — для взрослых. Нет, наше завтра — мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем, — все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, живите наперекор всему. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Уверяю вас, ваше преосвященство, у меня и в самом деле есть своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить детской болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они все это жуют. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю господина Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

— Отлично сказано! — вскричал он. — Какая великолепная штука этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки.

Да, того, кто овладел им, уже не проведешь, он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы — добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога

оставалась философией народа, — так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни епископа Диньского в семейном кругу и о том, как обе благочестивые женщины подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего привести здесь письмо Батистины к подруге ее детства, виконтессе де Буашеврон. Мы располагаем этим письмом.

«День, 16 декабря 18...

Дорогая моя! Не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми

обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, — она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, — потолок покрыт по старинной моде живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но всего интереснее моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев Маглуар обнаружила картины, — хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах — забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (одно слово нельзя разобрать) и тому подобное. Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения,

снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, мне больше хотелось бы круглый стол красного дерева.

Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр! Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. А у нас почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не правда ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, — так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или Маглуар

боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здрав и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» — сказал он и открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богоматери, которые ему подарили грабители.

В этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услыхал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это необыкновенный человек». Теперь я, наконец, привыкла. Я знаками показываю Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к богу вместе с моим братом и моим епископом. Маглуар было труднее, чем мне, свыкнуться с тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха, потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю провидения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы справлялись. Вам известно, что он все знает и как много он помнит, — ведь он по-прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Канского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роде, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь Мария-Луиза была замужем за Андриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: *Faux, Fauq, Faoucq*.

Дорогая моя! Попросите вашего досточтимого родственника, кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Вы передали мне ее поклон, и я счастлива. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я все худею и худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, и я вынуждена на этом кончить письмо. Шлю вам самые лучшие пожелания.

Батистина.

P.S. Дорогая моя! Ваша невестка с детьми все еще здесь. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Он так мил! А его младший брат тащит по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»

Как явствует из письма, обе женщины применились к привычкам епископа, — это свойственно лишь женской душе, которая понимает мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Храня кроткий и непринужденный вид, епископ Диньский совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но она никогда не делала замечаний во время совершения поступка или после. Если дело было начато, никто ни единым словом, ни единым движением не мешал ему. В иные минуты — ему не приходилось говорить им об этом, а может быть, он и сам этого не сознавал, так безгранична была его скромность — обе женщины смутно сознавали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли, и если повиноваться значило исчезнуть — они исчезали. Изумительно тонкий инстинкт подсказывал им, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его,

то в самую сущность его натуры, что переставали его опекать и поручали его богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной, Маглуар не говорила этого, но она это знала.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, который, по мнению всего города, был еще более безрассуден, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот — произнесем сразу эти страшные слова — был когда-то членом Конвента. Звали его Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. Вообразите только — член Конвента! Члены Конвента существовали в те времена, когда люди говорили друг Другу «ты» и «гражданин»! Не человек, а чудовище. Он не голосовал за смерть короля,

но был близок к этому. Он чуть что не цареубийца. Страшный человек. Каким образом по возвращении законных государей его не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову — надо все же проявлять милосердие, — но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т.д. и т.д. Тем более, что он безбожник, как и все эти люди... Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой строгости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где купа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Кон-

вента, думал: «Там живет одинокая душа».

А внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти невыносимой. В сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хотя он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в большом затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что пастушонок, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» — добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию — его сутана, как мы уже говорили, была изношена,

а кроме того, по вечерам обычно поднимался холодный ветер, — и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед, и вдруг в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью, в старом кресле на колесах, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. Тут старик заговорил.

— Благодарю, — сказал он, — больше мне ничего не нужно.

Оторвавшись от солнца, его ласковый взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шаги, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

— За все время, что я здесь, ко мне приходят впервые, — сказал он, — Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

— Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

— Бьенвеню Мириэль! Я слышал это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

— Да, меня.

— В таком случае, вы мой епископ, — улыбаясь, сказал старик.

— До некоторой степени.

— Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Он только сказал:

— Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

— Сударь, — ответил старик, — скоро я буду здоров.

Помолчав немного, он добавил:

— Через три часа я умру.

И продолжал:

— Я кое-что смыслю в медицине и знаю, как на-

ступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я это чувствую; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь — простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд.

Старик обернулся к пастушку:

— Иди ложись. Ты просидел возле меня всю ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

— Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть — добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В подобном расставании с жизнью он не ощущал присутствия бога. Скажем

прямо — ибо и мелкие противоречия великих душ должны быть отмечены так же, как все остальное, — епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреосвященством», был слегка задет чем, что здесь его не называли «монсеньером», и ему хотелось ответить на это обращением: «гражданин». Он вдруг почувствовал, что склонен к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но ему совсем несвойственной. В конце концов этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа, был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, но теперь он внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем угрызения совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом

вне закона, даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые у физиологов возбуждают удивление. Революция видела немало таких людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил отлетел бы от него, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. Отсюда начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей мощью жизни и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ

сел на него. Вступление было *ex abrupto*[7].

— Я рад за вас, — сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. — Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

— Не радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Его суровый тон явился ответом на тон строгий.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил епископ.

— Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран — невежество. Вот за уничтожение этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой — ложь, тогда как знание — это власть, источник которой — истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

— И совесть, — добавил епископ.

— Это одно и то же. Совесть — это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением

---

[7] Примечания: 7
Внезапно; без предисловий (*лат.*)

слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

— Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение продажности женщины, рабства мужчины, невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

— Радости замутненной, — сказал епископ.

— Вы могли бы сказать — радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которому тысяча восемьсот четырнадцатый год, — радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый порядок в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

— Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

— У справедливости тоже есть свой гнев, ваше преосвященство, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, Французская революция — это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное, — пусть так, — но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция — это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

— Да? А девяносто третий год?

С какой-то зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

— А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они, наконец, разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

— Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но только более высоким. Удару грома не подобает ошибаться.

В упор глядя на члена Конвента, он добавил:

— А Людовик Семнадцатый? Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

— Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинное дитя, которое повесили на Гревской площади и которое висело там, охваченное веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, дитя, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого — другое невинное дитя, заточенное в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

— Сударь, — прервал его епископ, — мне не

нравится сопоставление этих имен.

— Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Воцарилось молчание. Епископ почти жалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

— Ах, господин священнослужитель, — продолжал член Конвента, — вы не любите грубой правды! А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял торговцев из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал *Sinite parvulos*[8], то не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

— Это правда, — тихо проговорил епископ.

— Я настаиваю на своей мысли, — продолжал член Конвента. — Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же условимся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей — и тех, которые внизу,

---

[8] Примечания: 8
Пустите детей (*лат.*)

и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к временам, предшествующим девяносто третьему году, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

— Я оплакиваю всех, — сказал епископ.

— В равной мере! — вскричал Ж. — Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем, — машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, — вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

— Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана,

который мне помогает. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ — этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал стука колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Итак — я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия — это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни — вы обладаете ими,

как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне урок мудрости. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

— *Vermis sum*.[9]

— Земляной червь, разъезжающий в карете! — проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

— Пусть будет так, сударь, — кротко сказал он. — Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание — не добродетель, что милосердие — не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

---

[9] Примечания: 9
Я червь (*лат.*)

— Прежде чем вам ответить, — сказал он, — я прошу вас извинить меня... Я виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть любезным. Вы оспариваете мои взгляды, — я должен ограничиться возражениями на ваши доводы. Ваши богатства и наслаждения — это мои преимущества в нашем споре, но было бы учтивее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

— Благодарю вас, — молвил епископ.

— Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, — продолжал Ж. На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

— Да, безжалостен, — подтвердил епископ. — Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

— А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем *Te Deum* по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул: он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

— Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год — увы! — покажется ее опровержением. Вы считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье — разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль — негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Майьяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдаи — Головорез, чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали неподалеку. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги.

Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине-матери и кормилице; «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Тантала, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Мир, сделавшийся лучше, — вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю. У меня на руках слишком хорошие карты. К тому же — я умираю.

Уже не глядя на епископа, член Конвента спокойно закончил свою мысль:

— Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

— Прогресс должен верить в бога. У добра не

может быть нечестивых слуг. Атеист — плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной глубины небес:

— О ты! О идеал! Ты один существуешь! Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

— Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом, и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряже-

ние истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые ему оставались. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священнослужитель. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

— Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы горько, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Тень какой-то суровой торжественности лежала теперь на его лице.

— Ваше преосвященство! — медленно заговорил он, и эта неторопливость вызывалась, быть может, не столько упадком физических сил, сколько чувством собственного достоинства. — Я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления

— и боролся с ними. Я видел тиранию — и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну — и я защищал ее, Франции угрожала опасность — и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, — а я обедал за двадцать два су на улице Арбр-Сек. Я помогал угнетенным и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда приветствовал шествие человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Сличалось и так, что я оказывал помощь вам, моим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство святой Клары в Болье, — в тысяча семьсот девяносто третьем году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро где только мог. Меня стали преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Несмотря на свои седины, я давно

уже чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я — проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, хотя ни к кому не питаю ненависти. Теперь мне восемьдесят шесть лет. Я умираю. Чего вы от меня хотите?

— Вашего благословения, — сказал епископ и опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С той поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание о «старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское по-

сещение» доставило местным сплетникам повод для пересудов. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? — говорили они. — Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры — закоренелые еретики. Так зачем ему было ездить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, мнящих себя остроумными, позволила себе такую выходку.

— Ваше преосвященство, — сказала она епископу. — Все спрашивают, когда вам будет пожалован красный колпак.

— О, это грубый цвет, — ответил епископ. — Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шапке.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует

впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе недоумение, придавшее еще большую кротость его характеру. И только.

Хотя монсеньор Бьенвеню меньше всего был политическим деятелем, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к современным событиям, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-то отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю Мириэль был приглашен Наполеоном на совет епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в Соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии, человек

привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он ответил:

— Я там мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я произвел впечатление распахнутой настежь двери.

В другой раз он сказал:

— Что же тут удивительного? Все эти высокопреосвященства — князья церкви, а я — всего лишь бедный сельский епископ.

Он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, а как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих собратьев, у него вырвались, между прочим, такие слова:

— Какие красивые стенные часы! Какие красивые ковры! Какие красивые ливреи! До чего это утомительно! Нет, я бы не хотел иметь у себя всю эту бесполезную роскошь. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно. Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши — ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о торжественных службах и обрядах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник-это нелепо, место священника — подле бедняков. Но можно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякими невзгодами, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запачкавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который, находясь у пылающего костра, не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе постоянно работающего у раскаленной печи человека, у которого не было бы ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, — это его бедность.

По-видимому, именно так думал и епископ Диньский

Впрочем, не следует предполагать, чтобы по отношению к некоторым щекотливым пунктам

он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри своего времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточно сильное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что Мириэль выказал крайнюю холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот возвращался с острова Эльбы, и не отдал распоряжение по епархии о служении в церквах молебнов о здравии императора во время Ста дней.

Кроме сестры Батистины, у него было два брата: один — генерал, другой — префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому после того, как, командуя войсками в Провансе и приняв под свое начало отряд в тысячу двести человек, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал дать ему возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным

префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню тоже коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, свои мрачные мысли. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль, — мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновенье не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей — истины, справедливости и милосердия, — ярко сияющих над бурной житейской суетойю.

Признавая, что бог создал моньсеньора Бьенве-

ню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает нас обезоруживать. В 1813 году Законодательный корпус, до той поры безмолвный и осмелевший после ряда катастроф, подло нарушил свое молчание: это не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо

пятившихся назад и оплевывавших недавнего идола, каждый счел своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего достойного осмеяния, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как епископ Диньский, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был — этого у него отнять нельзя — снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки. Привратник диньской ратуши,

когда-то назначенный на эту должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманные слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» — таково было его выражение, — чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, вследствие чего в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, — говорил он, — чем носить на сердце трех жаб!» Он любил во всеуслышание издеваться над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах? Пусть убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» — говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил его и

назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню добрыми делами и кротостью снискал себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила и своего епископа.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, вокруг каждого епископа вьется стая аббатов. Именно этих аббатов очаровательный св. Франциск Сальский и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого не было бы своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого не было бы своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей

херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку его преосвященства. Угодить епископу — значит стать на первую ступень, ведущую к иподьяконству. Надо же пробить себе дорогу, — апостольское звание не брезгует доходным местечком. Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, несомненно, умеющие молиться, но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, заставляют ждать себя в передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией, — скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди влиятельные, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, каноникаты, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников, — настоящая солнечная система в движении! Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту.

С их пиршественного стола перепадают крохи и их приближенным в виде теплых местечек. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко! Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вы камерарий, вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет лишь дымок сжигаемого избирательного листка. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник — это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и — кто знает? — быть может, даже искренне, поддаваясь самообману. Блажен надеющийся!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным

особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, грубоватые, как и он сам, так же как он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в священники, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Повторяем: люди хотят, чтобы им помогли пустить ростки. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, — опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще слишком большой любовью к самопожертвованию; от этой чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество

монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать — вот высшая мудрость, которая капля за каплей падает из черной тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь — успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача — это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана — история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте — такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке — в этом вся штука! Будьте удачливы — все остальное приложится; будьте баловнем счастья — вас сочтут великим человеком. Не считая пяти-шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты — хоть первым встречным — это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу.

Пошлость — это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже — Корнель написал *Тиридата*; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, — во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных

лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли епископ Диньский приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Тление не может коснуться алмаза. Мириэль веровал всей душой. *Credo in Patrem*[10], — часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою

---

[10] Примечания: 10
«Верую в бога-отца» (*лат.*)

бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверхверы у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quid multum amavit*[11], его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных. В епископе Диньском эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Екклезиаста: «Кто знает, куда идет

---

[11] Примечания: 11
За многолюбие (*лат.*)

душа животных?» Внешнее безобразие, грубость инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого языковеда, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виноватое.

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем, ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования уничтожить нельзя.

В 1815 году — мы, кажется, уже упоминали об этом — епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему можно было дать не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан — подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться

дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестевшие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Какой добрый малый!» — если он молод, и «Какой добрый старик!» — если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добрый старик — и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добрый старик преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, величественный благодаря увенчивавшим его сединам, казался еще величественнее в часы, когда епископ предавался размышлениям; нечто

возвышенное исходило от этой доброты, не переставшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Благоговение, невыразимое благоговение медленно охватывало вас, проникая в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, много переживших и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, богослужения, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно *заполняли*, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы его

домашние, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там он оставался наедине с самим собою, сосредоточенный, безмятежный, спокойный и благоговеющий; ясность его сердца можно было сравнить с ясностью небесного эфира. Взволнованный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может он и сам не мог бы сказать, что совершается в его душе; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной!

Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей — чудесной тайне, о вечности минувшей — тайне еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивитель-

ных столкновениях атомов, которые составляют материю, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения — вечный круговорот завязок и развязок; отсюда жизнь и смерть.

Он садился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где высокое небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклоняться богу в его прекраснейших и совершенных творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Садик для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его — то, что можно возделывать и собирать; над головой — то, что можно обдумывать и изучать. Немного

цветов на земле и все звезды на небе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя распространенные сейчас выражения, внушить мысль о том, что епископ Диньский в некотором роде «пантеист» и что он придерживался — в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый — одной из тех присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньера Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий — и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри.

Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное заблуждение. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самое природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди, — впрочем, люди ли это?

— которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Епископ Диньский избрал кратчайшую тропу — Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила — вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного писания, являлась ересью, то

и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному — найти самому и передать другим наилучший способ жалеть и поддерживать. Все сущее было для этого редкого по свой доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земли золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастия мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» — говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; в этом и заключалось все его учение. «Послушайте, — сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом. — Да взгляните же вы на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее — тот и умнее. Ваше „любите друг друга“ — глупость». «Что ж, — ответил епископ, не вступая в спор, —

если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и вполне удовлетворялся ею, отстраняя от себя грозные проблемы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке — для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, субстанцию. *Nil* и *Ens*, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньер Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум. строго хранил в душе

благоговение перед неведомым.

КНИГА ВТОРАЯ
ПАДЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
После целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаха из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с дырой на дру-

гом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым шпагатом; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья — он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, что он остановился под деревьями бульвара Гассенди и пил воду из фонтана, в конце аллеи. Вероятно, его мучила жажда, потому что дети, которые шли

за ним следом, видели, что шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест» Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора немало слухов ходило в тех краях о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты сол-

датам и пригоршни золотых монет горожанам. Достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», — и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздаовались в соседней комнате. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

— Что вам угодно, сударь?

— Поесть и переночевать, — ответил вошедший.

— Это можно, — сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: — Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

— Деньги у меня есть, — сказал он.

— В таком случае к вашим услугам, — ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук палки, присел на низенький табурет перед камином. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая сновать взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

— Скоро ли обед? — спросил тот.

— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен

Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

— Скоро ли обед?

— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, видимо ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления.

— Сударь! — сказал он. — Я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал.

— Как так? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я отдам плату вперед? Говорят вам, у меня есть деньги.

— Дело не в этом.

— А в чем же?

— У вас есть деньги...

— Да, — еще раз подтвердил незнакомец.

— Но у меня-то, — продолжал трактирщик, — нет свободной комнаты.

— Так устройте меня в конюшне, — спокойно возразил незнакомец.

— Не могу.

— Почему?

— Там нет места — все занято лошадьми.

— Ну что ж, — снова возразил незнакомец, — в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.

— Я не могу дать вам обед.

Эти слова, произнесенные сдержанным, но решительным тоном, заставили незнакомца насторожиться. Он встал.

— Ах, вот оно что! — вскричал он. — Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. И хочу есть.

— У меня ничего нет, — сказал трактирщик.

Незнакомец захохотал и повернулся к камину и к плите.

— Ничего? А все это?

— Все это заказано другими.

— Кем?

— Господами возчиками.

— Сколько же их?

— Двенадцать.

— Да тут хватит еды на двадцать человек.

— Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

— Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

— Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

— Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя — Жан Вальжан. А теперь — сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно

в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик сказал:

— Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тут подозрительные, испуганные взгляды всех этих людей сказали бы ему: что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручен горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам,

надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Богатый трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы блеснул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок, — кабачок на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Какие-то люди сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела во дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

— Кто там? — спросил хозяин.

— Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

— За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала пришельца с одной стороны, огонь очага-с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик сказал:

— Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо пришельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение какого-то неопределенного удовлетворения, к которому примешивался скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Вообще у него был мужественный, энергичный и вместе с тем грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось кротким, а потом суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под груды валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить

к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая, утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название, — кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и рассказал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал кабатчику незаметный знак. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

— Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

— Ах, так? Вы уже знаете?..

— Да.

— Меня прогнали из одного трактира.

— А теперь тебя выгоняют из этого.

— Куда же мне деваться?

— Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и вышел.

На улице мальчишки, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он в гневе повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот весела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

— Господин привратник! — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку. — Сделайте милость, откройте н дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

— Тюрьма не постоялый двор. Пусть тебя арестуют, тогда открою.

Окошечко захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая, выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набив-

ного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двуствольным ружьем, висевшим на стене. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестевший, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую мяску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы он один. Вероятно, он подумал, что этот дом, где царит радость, не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в окно тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

И услыхал, как женщина сказала:

— Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучится.

— Нет, — ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник слева доходил ему до плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, — подняв голову; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навыкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

— Извините, сударь, — сказал путник, — не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы? За плату?

— Кто вы такой? — спросил хозяин дома.

Человек ответил:

— Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

— Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, — сказал крестьянин. — Но почему вы не идете на постоялый двор?

— Там нет места.

— Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. У Лабара вы были?

— Да.

— И что же?

— Не знаю, право, но он меня не пустил, — в замешательстве ответил путник.

— А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

— Он тоже не пустил меня, — пробормотал он.

Лицо крестьянина отразило недоверие; он оглядел пришельца с головы до ног и вдруг в ужасе вскричал:

— Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?», женщина вскочила с места, схватила детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась

за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя. «Воровское отродье!».

Все это произошло с невероятной быстротой. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

— Убирайся.

— Ради бога, хоть стакан воды! — попросил путник.

— А не хочешь ли пулю в лоб? — ответил крестьянин и захлопнул дверь; путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через дощатый забор и очутился в саду. Затем подошел к землянке, дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие; она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнако-

мец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Он выбрался из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через

забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже соломенной подстилки, выгнанный из жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень; говорят, что какой-то прохожий слышал, как он воскликнул: «Собаке — и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле дерево или стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, очутившись вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с низким жнивьем, — такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен — и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля из — за этого была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно злове-

щее впечатление; холм с его однообразными, унылыми очертаниями, мутным сизым пятном вырисовывался на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отталкивающего, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм — только одно уродливое дерево; качаясь и вздрагивая под ветром, оно стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, по-видимому, не принадлежал к числу людей тонкого духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и холм, равнина и дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная города, он опять отправился наудачу.

Он дошел до префектуры, потом очутился у

семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человека.

— Что вы здесь делаете, друг мой? — спросила она.

— Разве вы не видите, добрая женщина? Я ложусь спать, — ответил он резко и злобно.

Доброй женщиной, вполне достойной этого имени, была маркиза де Р.

— На этой скамье? — снова спросила она.

— Девятнадцать лет я спал на голых досках, — сказал человек, — сегодня досплю на голом камне.

— Вы служили в солдатах?

— Да, добрая женщина, в солдатах.

— Почему же вы не идете на постоялый двор?

— Потому что у меня нет денег.

— Как жаль! — сказала маркиза де Р. — У меня в кошельке только четыре су.

— Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Маркиза де Р. продолжала:

— Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

— Я стучался во все двери.

— И что же?

— Меня отовсюду гнали.

Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домах, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

— Вы говорите, что стучались во все двери? — еще раз спросила она.

— Да.

— А в эту?

— Нет.

— Так постучитесь.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Мудрость, предостерегаемая благоразумием

В этот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Диньский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему об обязанностях, который, к сожалению, так и остался незавершенным. Он тщательно собирал вое сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд делился на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй — об обязанностях каждого человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности — суть великие обязанности. Их четыре. Апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (*Матф*., VI), обязанности по отношению к самому себе (*Матф*., V. 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (*Матф*., VII, 12], обязанности по отношению к твореииям божиим (*Матф*., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными

в других местах: обязанности государей и подданных — в Послании к Римлянам; судей, жен, матерей и юношей — у апостола Петра; мужей, отцов, детей и слуг — в Послании к Ефесянам; верующих — в Послании к Евреям; девственниц — в Послании к Коринфянам. Все эти предписания он старательно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на четвертушках бумаги. Как всегда в это время, в комнату вошла Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно яркий огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: Маглуар — низенькую, полную, подвижную; Батистину — кроткую, худощавую, хрупкую, немного выше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и которое верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что с виду Маглуар была «из простых», а Батистина — «из господ». Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик — единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху двумя булавками, довершал ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят житель-

ницы Марселя. Платье Батистины было скроено по фасону 1806 года; короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, клапаны и пуговки. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка», как тогда говорили. Маглуар производила впечатление неглупой, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали выражению ее лица оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, сочетая почтительность с фамильярностью, но стоило монсеньору заговорить, и — мы уже убедились в этом — она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навыкате и длинный, с горбинкой, нос, но все лицо ее, все ее существо — мы уже говорили об этом вначале — дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда — эти три добродетели, согревающие душу, — мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа

сделала ее агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Батистина так часто рассказывала о том, что произошло в епископском доме в тот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, Маглуар что-то горячо говорила Батистине. Она беседовала с Батистиной на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, Маглуар, закупая провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается по улицам и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собой и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие происшествия. Поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были закрыты,

входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодновато, теперь грелся, сидя у камина, и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу Маглуар. Она повторила ее. Тогда Батистина, которой хотелось доставить удовольствие Маглуар, не вызвав при этом неудовольствия брата, осмелилась робко спросить у него:

— Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

— Да, я мельком слышал об этом, — ответил епископ.

Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

— Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?

Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не

пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья — настоящий висельник.

— В самом деле? — спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

— Да, ваше преосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. А полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не поставить на улице ни одного фонаря! Выходишь, а кругом тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

— Я ничего не говорю, — прервала ее Батистина — Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, Маглуар продолжала:

— Вот мы и говорим, что наш дом ненадежен и что если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное

дело. Право, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь, потому что, право, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть глухой ночью. О господи, да чего уж тут! Незачем и спрашивать разрешения...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

— Войдите! — сказал епископ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен.

В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Батистина обернулась, увидела входящего человека и в испуге приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо, собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

— Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, к месту назначения. Вот уже четыре дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь! Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Снача-

ла на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я залез в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала вон, словно это не собака, а человек. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться хотя бы в какой-нибудь нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги Целый капитал Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. В+ позволите мне остаться?

— Госпожа Маглуар! — сказал епископ. — Поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

— Погодите, — продолжал он, словно не поверив своим ушам, — тут что-то не то. Вы слышали?

Я каторжник Галерник Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

— Вот мой паспорт. Как видите — желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в заключении. Там есть школа для тех, кто желает учиться. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» — ну да это вам безразлично... — «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну вот! Все меня выбрасывали вон. А вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

— Госпожа Маглуар! — сказал епископ. — Постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, как повиновались епископу обе женщины.

Маглуар вышла исполнить его приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

— Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось чрезвычайное изумление, недоверие, радость. Он забормотал, словно помешанный:

— Правда? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не говорите мне «ты». «Убирайся прочь, собака!» — вот как всегда обращаются со мной. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда! Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати! Вы позволили мне остаться? Право, вы добрые люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощенья, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

— Я священник и живу в этом доме, — сказал епископ.

— Священник! — повторил пришелец. — Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы — кюре, не так ли? Кюре из

этой вот большой церкви? Ну и дурак же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

— Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо — хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

— Нет, — ответил епископ, — оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали — сто девять франков?

— И пятнадцать су, — добавил путник.

— Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы их заработать?

— Девятнадцать лет.

— Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

— У меня покуда все деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грассе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был епископ Майоркский

в Марселе. Епископ — это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю, но уж очень мне все это непонятно! Вы подумайте только — наш брат и он! Он служил обедню на тюремном дворе, там поставили престол, а на голове у епископа была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

— Госпожа Маглуар! — сказал епископ. — Поставьте этот прибор как можно ближе к огню. — И, повернувшись к гостю, добавил: — Ночной ветер в Альпах — это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово сударь ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. Сударь для каторжника — это все равно, что стакан воды для

человека, умирающего от жажды. Опозоренные жаждут уважения.

— Как тускло горит лампа! — заметил епископ.

Маглуар поняла епископа; она пошла в его спальню, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

— Господин кюре! — сказал пришелец. — Вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

— Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучит голод и жажда — добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку: этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

— Правда? Вы знали, как меня зовут?

— Да, — ответил епископ, — вас зовут «брат мой».

— Знаете что, господин кюре! — вскричал путник. — Входя к вам, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной, — у меня как будто и голод пропал.

Епископ посмотрел на него и спросил:

— Вы очень страдали?

— Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное к ноге цепью, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, — все равно кандалы. Собаки, и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. Вот и все.

— Да, — сказал епископ, — вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этих печальных мест, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда доброжелательность,

кротость и мир, то вы лучше любого из нас.

Между тем Маглуар подала ужин: постный суп с размоченным хлебом и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

— Прошу к столу! — с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место слева от брата.

Епископ прочитал перед ужином молитву и, по своему обыкновению, налил всем суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

— Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался ужинать гость, обычай дома требовал раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов — невинное тщеславие! Наивное притязание

на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Маглуар поняла намек; она молча вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за ужином, лучше всего привести здесь отрывок из письма Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

. . . . . .

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

— Господин кюре, служитель божий! Для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили

мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного меня задело. Мой брат ответил:

— У них больше работы, чем у меня.

— Нет, — возразил человек, — у них больше денег. Я вижу, вы бедны. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы правда священник? Если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

— Бог более чем справедлив, — ответил мои брат. Затем он спросил:

— Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

— Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

— Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

— Вы идете в хорошие места, — сказал мой брат. — Во время революции семья моя была разорена. Сначала я нашел убежище в Франш-Конте и там некоторое время жил трудами своих рук. Мне очень хотелось работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые заводы, сталелитейные

и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов; из них четыре очень крупных, находятся в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере.

По-моему, я не ошибаюсь; именно эти предприятия перечислил мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

— Сестрицам — сказал он. — Кажется, у насесть родственники в этих краях?

Я ответила:

— Прежде были, и при старом режиме один из них, господин де Люсене, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

— Так, так, — продолжал брат, — но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая угощать этого человека, подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие сараи», принадлежащие богатым, где держат по

сорок-пятьдесят коров и где за лето выделывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сыроварни», принадлежащие беднякам, — то есть крестьянам с предгорий, которые содержат коров сообща и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу приходить в себя. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, считая, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразило вот что. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, брат в

продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о том, кто он такой и кто такой мой брат. Казалось бы, для него, как для епископа, это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая вести в будущем более нравственную жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его прошлом. Ведь в прошлом он и совершил проступок, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. Говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, — добавил он, — «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил,

что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, — это обращаться с ним как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была тайная мысль моего брата. Так или иначе, если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; весь вечер он был таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судией Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы ели смокву, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания

на окружающее. Он молчал и казался очень усталым. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель?» Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала Маглуар отнести гостю шкуру шварцвальдской косули, которая лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что шкура такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек, ручка которого сделана из слоновой кости, я пользуюсь им во время еды.

Маглуар сейчас же вернулась, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

ГЛАВА ПЯТАЯ
Спокойствие

Пожелав сестре спокойной ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных под-

свечников, другой отдал своему гостю и сказал:

— Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как известно, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил гостя до самого алькова. Там его ожидала постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на столик.

— Ну, желаю вам спокойной ночи, — сказал епископ. — Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

— Спасибо, господин аббат, — сказал путник.

Не успел он произнести эти миролюбивые слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас

нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было — предостережение или угроза? Или он просто повиновался безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он живо обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло закричал:

— Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой!

Помолчав, он прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное:

— Подумали ли вы о том, что делаете? Почем вы знаете, может быть, мне случалось на своем веку убить человека?

— Про то ведает милосердный бог, — ответил епископ.

Торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего головы, и, не оглядываясь, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала престол. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил

краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую бог открывает ночью очам тех, кто бодрствует.

А путник так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это обычно делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в спальню, пробило полночь.

Через несколько минут все в домике спало.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Жан Вальжан

Ночью Жан Вальжан проснулся.

Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца — Жаном Вальжаном, или Влажаном, — по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получив-

шееся от сокращения слов *voila Jean*[12].

Жан Вальжан был задумчив, но не печален, — свойство привязчивых натур. А в общем этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и заурядным. Еще в раннем детстве он потерял отца и мать. Мать, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, тоже подрезальщик, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми — мальчиками и девочками. Сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор, пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему — год. Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и стал поддерживать вырастившую его сестру. Это совершилось само собой; Жан Вальжан угрюмо выполнял свой долг. Так, в тяжелом труде, за который он получал гроши, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него была подружка. Ему некогда было влюбляться.

Вечером он приходил домой усталый я молча

---

[12] Примечания: 12
Вот Жан.

съедал свою похлебку. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из детей. Нагнувшись над столом, почти уткнувшись носом в похлебку, не убирая длинных волос, падавших на глаза и свисавших над миской, он продолжал есть, казалось, ничего не замечая и не мешая сестре делать свое дело. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улички, жила фермерша Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом закоулке, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что молока больше проливалось им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за молоко, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его

тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Нужда все сильнее зажимала в тиски злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба — в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба!

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла. Изабо бросился на улицу: вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, — он отлично стрелял и немного промышлял браконьерством, — и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, недалеко ушел от разбойника. Однако

заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы — горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист — в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость нрава, не всегда уничтожая человечность.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется н навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армией, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы — сейчас ему около девяноста лет — все еще хо-

рошо помнит беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений — представлений бедного невежественного человека — просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление. в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он

превратился в номер 24601. Что сталось с его сестрой? Что сталось с ее семерыми детьми? Кому до этого дело? Что станется с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят — кто знает, куда именно, быть может, в разные стороны, — и потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня сельской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на ули-

це Хлебопеков. При ней оставался только один мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время — задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час, — целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданьице: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же в темноте, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла убогая кровать, прялка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда.

Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и позволив ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал — ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить, и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этих невеселых мест. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня — потому что светло, ночипотому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет.

На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с таким же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия — три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба, как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой

установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Глубина отчаянья

Попытаемся рассказать об этом.

Общество обязано вглядеться в такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантских нар, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он назначил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что был осужден вовсе не невинно.

Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что если бы он попросил хлеба, ему, быть может, и не отказали бы; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали хлеба или из сострадания, или за работу; что на слова «разве может человек ждать, когда он голоден?» — нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для несчастных детей; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, — дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюби-

вый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чаш весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности, — преступлением, возобновляемым каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя: вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать всех своих членов безрассудной своей неосмотрительности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности — с другой, навсегда зажимая несчастного

человека в тиски между отсутствием и чрезмерностью — отсутствием работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя: не чудовищно ли, что общество так обращается именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, одарены наименее щедро и, следовательно, наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; негодование же всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причиняло ему только зло. Он всегда видел лишь тот раз-

гневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему лишь затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь-война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда выйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-игнорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он

предал суду провидение, сотворившее общество, и тоже вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны в нее проник свет, а с другой — тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не остановиться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно переродиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности не было ли в душе Жана Вальжана

той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может погасить до конца?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы нет, если бы увидел в Тулоне Жана Вальжана, когда тот, в часы отдыха — часы его размышлений, — сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел у судового ворота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый — пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, — и мы вовсе не собираемся скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг, он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, — слово надежда.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы только что попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, больше того — мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того как он испытал столько горя, многое в нем самом оставалось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел во тьме, ощупью находя путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней или по внешней причине им

овладевал порыв гнева, приступ невыносимого страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске этого мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он не помнил.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безрассудные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь

сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним в этом сравниться. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину называли *orgueil*, и от которого, кстати сказать, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно

мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство сохранения равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами — людьми, которые завидуют насекомым и птицам. Вскарабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины н ног, вдавливая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год зловещий хохот-хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. Казалось, он был постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то

чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, Жан Вальжан всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий, — громада, чьи очертания ускользали от него, чья давящая масса преисполняла его отчаянием; пред ним была колоссальная пирамида, называемая нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груде он вдруг различал то совсем рядом с собой, то вдали, на недосягаемых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине в солнечном нимбе, самого императора в сверкающей короне. И казалось ему, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более зловещим Все это — законы, предрассудки, события, люди, предметы — кружилось, проносилось над его головой, повинуясь сложному и таинственному велению, которое бог продиктовал цивилизации, и все это топтало и уничтожало его с какой-то

невозмутимой жестокостью, с неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубину бедствия, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, люди, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее между мельничными жерновами, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

В конце концов все это — действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, — привело его в особое душевное состояние, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своего тяжкого, мучительного труда он вдруг останавливался. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным, все, что окружало его, казалось неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон» Он глядел на

надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударяло его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через подвальное оконце.

Подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо определенные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен — таким воспитала его каторжная тюрьма — к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в беспамятстве и является как бы местью за все, что он выстрадал; во-вторых, — к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три по-

следовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокая обида, вызванная перенесенными несправедливостями, возмущение даже против добрых, невинных и праведных, если бы они существовали. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам — та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить — все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как весьма опасного человека.

Душа его черствела из года в год — медленно, но непрерывно. Черствое сердце — сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного — лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, но они замирают в глубинах вод. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к

числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал — все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, держат его в своих ужасных объятиях; бездна уносит его в своей качке, водяные клочья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; коварный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды — воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, он плывет. Он — это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, — сражается с неистощимым.

А где же корабль? Там, вдали. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы; его душит пена. Он поднимает глаза — над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он — жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он — он хрипит, задыхаясь, в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей-меж океаном и небом: первый-могила, второе — саван.

Надвигается ночь, он плывет уже столько часов, силы его приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся из виду; он один среди гигантской темной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водой движение бесформенных чудищ, невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего — в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водорос-

ли, к подводному камню — они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним — омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть. Он перестает бороться, уступает, сдается и наконец исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О зловещее исчезновение опоры! О нравственная смерть!

Море-это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море — это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» — наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него било немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при

выходе из каторжной тюрьмы.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Попросту говоря — обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грасс, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутыли. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжаи запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала

очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение — это еще не свобода. Выйти из острога — еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополуночи, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, и оно нарушило его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружавшую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если у человека было много разных впечатлений днем, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче,

чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в том состоянии духа, когда все мысли и представления бывают смутны. В голове у него был хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, бесконечно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и исчезало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Эту мысль мы сейчас откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха-служанка убирала их в шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметит этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не

«обокрало» его.

Целый час он провел в колебаниях и сомнениях, во внутренней борьбе. Пробило три. Он снова открыл глаза, приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и сел, почти не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствовавшего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она точно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике, по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть,

просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате царил полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, и разрежавшийся, когда луна показывалась из-за облаков, походил на сизую дымку, проникающую в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на задвижку. Он открыл окно, холодная резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. За ней, в отдалении Жан Вальжан различил вер-

хушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что там была аллея бульвара или обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный с одного конца, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно — дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и давали орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается

острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, затаив дыхание, неслышным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал секунду, потом еще раз толкнул дверь уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо

было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо, плохо смазанная, вдруг издала во мраке резкий и протяжный звук.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что петля внезапно ожила, превратилась в страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению. Дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины,

сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, превратившись в соляной столб, не смея пошевелиться. Прошло несколько минут. Дверь была отворена настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Оттуда не доносилось ни звука. Он прислушался. В доме стояла тишина. Скрип ржавой петли не разбудил ни одной души.

Первая опасность миновала, но в душе у него продолжала бушевать страшная буря. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда счел себя погибшим. Теперь он хотел одного — поскорее покончить с тем, что задумал. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило полное спокойствие. Можно было различить смутные, неясные очертания предметов, — днем это были просто разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или налой, но теперь, в этот час, все представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из

глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Внезапно Жан Вальжан остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и мудрым искусством вмешивается в наши действия, как бы желая навести нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча, словно нарочно, разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежат в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали его руки до кистей. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько добрых дел и оказавшая столько милостей, свесилась с кровати. Лицо его было озарено мягким выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение невидимого света трепетало на челе спящего.

Душам праведников снится небо, полное тайн.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, вокруг его головы словно засверкал венец. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана не поддающимся описанию полусветом. Луна в небе, уснувшая природа, недвижный сад, мирный дом, ночной час, эта минута, это безмолвие — все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя его седины и сомкнутые веки, его лицо, исполненное надежды и веры, его голову старика и его младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, хотя сам того не ведал.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру

неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника. Сон в уединении, в присутствии такого человека, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе все самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочитать что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление — и только. Он смотрел — вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Он был явно взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, — это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов был размозжить этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука его опустилась, и Жан

Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой — железный брусок; короткие волосы ощетинились над его нахмуренным лбом.

Под этим страшным взглядом епископ спал все тем же глубоким и мирным сном.

Освещенное луной распятие, вырисовывавшееся над камином, словно раскрывало им объятия, благословляя одного, даруя прощение другому.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял железный брус, видимо желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел большими шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, с ловкостью тигра перепрыгнув через забор, скрылся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала сильно встревоженная Маглуар.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! — кричала она. — Вы не знаете, где корзинка, в которой я держу серебро?

— Знаю, — ответил епископ.

— Слава богу! — обрадовалась она. — А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее Маглуар.

— Вот она, — сказал он.

— То есть как? — удивилась она. — Пустая? А серебро?

— Ах, вы беспокоитесь о серебре? — проговорил епископ. — Я не знаю, где оно.

— Господи помилуй? Оно украдено! Это ваш вчерашний гость — вот кто его украл!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, Маглуар

побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял нагнувшись и, вздыхая, рассматривал росток ложечника, сломанный корзинкой при падении на клумбу. Услыхав крик Маглуар, епископ выпрямился.

— Ваше преосвященство! — кричала она. — Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя доска забора была оторвана.

— Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Как же ему не совестно! Он украл наше серебро!

Епископ помолчал, затем поднял на Маглуар серьезный взгляд и кротко спросил:

— А где сказано, что это серебро наше?

Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

— Госпожа Маглуар! Я был неправ, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

— Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, — возразила Маглуар. — Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы

будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

— Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Маглуар пожала плечами.

— У олова неприятный запах.

— А железных?

Маглуар сделала выразительную гримасу.

— У железных привкус.

— В таком случае, — сказал епископ, — мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, слушавшей его молча, и Маглуар, тихонько ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

— Ведь надо же придумать! — бормотала Маглуар, суетясь у стола. — Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал епископ.

Дверь открылась. Необычная группа возбужденных людей появилась на пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый — Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, по-видимому, главный из трех жандармов, остановился в дверях. Затем вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

— Ваше преосвященство... — начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, в изумлении поднял голову.

— Преосвященство! — прошептал он. — Значит, это не простой священник...

— Молчать! — сказал жандарм. — Перед тобой его преосвященство епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

— Ах, это вы! — воскликнул он, обращаясь к Жану Вальжану. — Очень рад вас видеть. Но послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как и все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему же вы не захватили их вместе с вашими

приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать человеческий язык.

— Ваше преосвященство, — сказал жандармский унтер-офицер, — так значит, то, что нам сказал этот человек, — правда? Он бежал нам навстречу. У него был такой вид, словно он спасался от погони. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

— И он вам сказал, — улыбаясь, прервал епископ, — что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

— В таком случае, мы можем отпустить его? — спросил унтер-офицер.

— Разумеется, — ответил епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана, тот невольно попятился

— Это правда, что меня отпускают? — произнес он почти невнятно, словно во сне.

— Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? — ответил один из жандармов.

— Друг мой! — сказал епископ. — Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот

они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели, не говоря ни слова, не делая ни одного движения, не бросая ни одного взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки два подсвечника.

— А теперь, — сказал епископ, — идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

— Господа! Вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

— Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жана Вальжана, не помнившего, чтобы он

что-нибудь обещал, охватило смятение. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. И торжественно продолжал:

— Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Малыш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от кого-то. Быстрым шагом он шел среди полей, сворачивая на первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он проблуждал так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества неведомых ему доселе ощущений. Он чувствовал, как в нем поднимается глухая злоба. На кого? — этого он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление; он боролся с ним и противопоставлял ему ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это состояние угнетало его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внут-

реннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя; что же теперь заменит его? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и долетавший до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы — ведь уже столько времени они не возникали перед ним!

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой, бурой, пустынной равнине. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего — даже колокольни какой-нибудь отдаленной сельской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в мрачное раздумье, которое

придавало еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти; мальчик, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, — это был один из тех ласковых и веселых малышей, что бродят по свету в рваных штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая пения, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони мелкие монеты — должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую до сих пор ему удавалось ловко подхватывать всю целиком тыльной стороной руки.

Однако па этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к

Жану Вальжану.

Место было безлюдное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только еле слышные крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, вплетавшему в его волосы золотые нити и заливавшему кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

— Сударь! — сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности. — А моя монета?

— Как тебя зовут? — спросил Жан Вальжан.

— Малыш Жерве, сударь.

— Убирайся прочь! — сказал Жан Вальжан.

— Сударь! — повторил мальчик. — Отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

— Мою монету, сударь! — еще раз повторил мальчик.

Жан Вальжан по-прежнему смотрел в землю.

— Мою монету! — кричал ребенок. — Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то

же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

— Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

— Кто это?

— Я, сударь, — ответил ребенок. — Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

— Вот что! Отодвинете вы, наконец, ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

— Ах, ты все еще здесь! — вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил:

— Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него и задрожал всем телом; несколько секунд он пробыл в оцепенении, а затем пустился бежать со всех

ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в раздумье, услышал его плач.

Несколько мгновений спустя ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Целый день он ничего не ел; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли палку.

Тут он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную его ногой в землю и блестевшие между камнями.

Его передернуло, точно от действия гальва-

нического тока. «Что это?» — пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляд от светлого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в ту сторону, где скрылся ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы:

— Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг

был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова зашагал, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне громким и в то же время жалобным голосом:

— Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, конечно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

— Господин кюре! Вы не видели тут мальчика?

— Нет, — ответил священник.

— Мальчика по имени Малыш Жерве?

— Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего мешка две пятифранковые монеты и протянул священнику.

— Господин кюре! Вот вам на бедных. Господин кюре! Это мальчуган лет около десяти. Кажется,

он был с шарманкой и сурком. Он прошел здесь... Знаете, он из этих, из савояров.

— Я его не видел.

— Малыша Жерве? А он не из ближнего села? Вы не знаете? Можете сказать?

— Если он такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан поспешно вынул еще две пятифранковые монеты и отдал священнику.

— На ваших бедных, — сказал он.

И вдруг добавил в каком-то исступлении:

— Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник испугался; он стегнул лошадь и ускакал.

Жан Вальжан побежал в ту же сторону. Он пробежал довольно большое расстояние, смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Раза три он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывалось кустиком или камнем почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз вгляделся

в даль и прокричал в последний раз:

— Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве! Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!», но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул:

— Я негодяй!

Сердце его не выдержало, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился — мы это видели — от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясный отчет в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была

самым сильным наступлением, самым грозным натиском, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, а если уступит, то придется ему отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшиеся ему духовные просветы, он шел, как пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел, угрюмо смотря вперед? Слышал ли он таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен в известном смысле либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что

если он хочет стать добрым, он должен сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: отразилась ли в его сознании хотя бы тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье совершенствует ум, — мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, на его пути появился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомне-

вался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, коснувшиеся его сердца.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, — украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум его метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Странное явление, возможное лишь в тех условиях, в каких находился он! Украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже был неспособен.

Так или иначе, это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно

прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, оставив все неясное и туманное по одну сторону, а свет — по другую, подействовало на его душу так же, как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще постичь и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он — только призрак, а пред ним облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с множеством гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Мы уже говорили, что чрезмерность страданий сделала его до известной степени ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой Жана Вальжана, его страшное лицо. Он готов был спросить себя, кто

этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она заслоняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинстве той глубине мерцающий огонек, который он принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что это — епископ.

Он попеременно всматривался в двух людей, стоявших перед его сознанием, — в епископа и в Жана Вальжана. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей такого рода восторженному состоянию, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал

и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ. И он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горючими слезами, плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, первый проступок, длительное искупление, внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, — кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более омерзительная, что она произошла уже после того, как епископ его простил, — все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; всмотрелся в свою душу — и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось,

что он видит Сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Достоверным можно считать лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Соборной площади, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей дома монсеньера Бьенвеню.

КНИГА ТРЕТЬЯ
В 1817 ГОДУ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1817 год

1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для Брюгьера де Сорсума. Все парикмахерские, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наив-

ные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный подвиг Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра, В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до шести лет высокие сафьяновые шапки с наушниками, напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета во все белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им название департаментов. Наполеон находился на острове св. Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м — ль Биготтини танцевала, царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять

пруссаки. Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толлерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, посмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации, на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели от бивуачных костров австрийцев, построивших бараки возле Гро-Кайу. Две-три таких колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне[13]. Двумя достопримечательностями этого 1817 года

[13] Примечания: 13

Игра слов, построенная на двойном смысле Champ-de-Mai — Майское собрание (буквально — Майское поле) и Champ-de-Mars — Марсово поле (буквально — Мартовское поле).

были: Вольтер в издании Туке и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою — Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала кое-кому из своих друзей еще не изданную Урику. В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада — двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях,

стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно.

Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже — Шатобриан в лице Маршанжи; лже — Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. *Клара Альба* и *Малек-Адель* считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим современным писателем. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые, изоб-

ражая акробатические упражнения, придавали особую остроту афишам Фанкони и собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Автор Агнезы Паэр, добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал камерными концертами у маркизы де Сасене на улице Виль-л'Эвек. Девушки распевали *Сент-Авельского отшельника*, текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал *Желтый карлик*, преобразился в *Зеркало*. Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцог Беррийский, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женился на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м — ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета *Конституционалист* была действительно конституционной. Минерва писала фамилию *Chateaubriand*[14] так: *Chateau-brant*. Буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года:

---

[14] Примечания: 14
Шатобриан

Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сульт не выиграл ни одного сражения; Наполеон — и это правда — уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходят, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эру революций навсегда закончил король Людовик XVIII, прозванный «бессмертным автором хартии». На откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово *Redivivus*[15]. Пьетэ

[15] Примечания: 15
Воскресший (*лат.*)

подготовлял в доме № 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Главари правой говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Деказ, до некоторой степени либерал, был властителем дум. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю Пилоржу различные варианты *Монархии согласно хартии*. Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелес подписывался буквой А; Гофман — буквой Z. Шарль Нодье писал *Терезу Обер*. Развод был упразднен. Лицеи назывались теперь колежами. Ученики колежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция до-

носила ее королевскому высочеству о том, что на портрете, выставленном повсюду, герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имеет более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, — крупная неприятность! Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае де Тренкелаг; Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с Клозелем де Кусергом; де Салаберн был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу *Два Филибера* в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочитать «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под заглавием: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», — говорил наивный издатель. Общее мнение гласило, что Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть-признак славы, и про него сочинили стишок:

Луазон — воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок — Луазон.[16]

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на лионскую епархию, то ею теперь управлял архиепископ Амазийский де Пен. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Далекой долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал свою величественную мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался

---

[16] Примечания: 16
Перевод стихов в «Отверженных» принадлежит В. Левику.

о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия — словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился достойным создателем нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции Делаво по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были пустить в ход кулаки. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять

Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой до степени «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен до степени», Руайе-Коллар объявил неологизмом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороговой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев, как граф д'Артуа вошел в Собор Парижской Богоматери, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку входили на Бал дикарей!» Крамольные речи. Полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои

продажные душонки и проявляли верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: *Please adjust your dress before leaving*[17]

Вот что всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими живописными подробностями, иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, полезны, ибо для человечества нет мелких фактов, как для растительного мира нет мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан выкинули «забавную штуку».

ГЛАВА ВТОРАЯ
Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент — это парижанин: учиться в Париже — все равно что

---

[17] Примечания: 17
Перед уходом оправляйте одежду (*англ.*)

родиться в Париже.

Эти молодые люди нечего собой не представляли; всем случалось видеть им подобных — четыре образчика «первого встречного». Не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, — восклицал романс, — Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее; первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного — Феликс Толомьес из Тулузы, второго — Листолье из Кагора, третьего — Фамейль из Лиможа и последнего — Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фэйворитку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину — уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, про-

званной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фэйворитка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах безмятежность-спутницу труда, а в душе налет невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую — старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели белокурая Фантина, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фэйворитка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод: влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей — в Гюстава. Бедность и кокетство — дурные советчицы: первая ропщет, а вторая льстит, и обе, каждая о

своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате — падение, а потом камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляет блеск всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фэйворитки, побывавшей в Англии, были две поклонницы — Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и хвастун, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фэйворитка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старуха, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» — «Нет». — «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фэйвориткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а

потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, — а быть может, и не с одним Листолье, — и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. А Зефина завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие — вещи разные; доказательством этому служит то, что Фэйворитка, Зефина и Далия — разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, — были девушками мудрыми, а Фантина — девушкой целомудренной.

«Целомудренной? — спросите вы. — А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любо-

вью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась

в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото — на головке, жемчуг — во рту.

Она работала, чтобы жить; потом — тоже для того, чтобы жить, — она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него — любовное похождение, для нее — истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишащие толпами студентов и гризеток, видели зарождение этой химеры. Фантина в лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков рентыскандально много для горы св. Женевьевы.

Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой он сам говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок — колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы — жизнерадостностью, здоровье — иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря на много раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете — великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. *Iron* по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону трех остальных членов компании и с загадочным видом сказал им:

— Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фэй-

воритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: *Faccia gialluta, fa o miracolo*! (Желтолицый, сотвори чудо!) — так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес! Когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» А родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха вырвался из всех четырех глоток, а Блашвель вскричал:

— Вот так идея!

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма; они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого загадочного разговора явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «около — парижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот — пароходом; сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года — город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались; стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фэйворитка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав:

«Как это должно быть красиво, когда пускают воду!», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, поиграли в кольца на тенистой лужайке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, всюду ели яблочные пирожные и были вполне счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»?

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фэйворитка и сказала наставительным, материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были умопомрачительно хороши собой. Поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фэйворитка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прижавшись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать унылыми прядями; Зефнна и

Далия носили прически с локонами. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем Дельвенкур отличался от Блондо.

Блашвель, казалось, был создан для того, чтобы по воскресеньям носить на руке кашемировую шаль Фэйворитки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновьей ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого — он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! — с почтительным уважением говорили о нем приятели. — Какие панталоны! Какая энергия!»

А Фантина была воплощенная радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение — сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носи-

ла не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, скрывающие тайну, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого — «канзу» (искаженное на канебьерский лад: *quinze aout*) — означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, в сочетании со шляпками, украшенными цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное

канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывавшее и в то же время что-то обнажавшее, казалось дерзкой находкой приличия; пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это случается.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом и тонкой лодыжкой, восхитительные руки, белая кожа с сетью голубых жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий изящный затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка сдерживаемая мечтательностью, скульптурные, изысканные формы — такова была Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе — живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с со-

вершенством все, что видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе красоту стиля и красоту ритма. Стиль — форма идеала, ритм — его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была воплощенная радость; Фантина была воплощенная стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности н скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотым прутом. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать серьезного, почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы; нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность

сменялась глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная очаровательная ямочка — таинственная примета целомудрия, — благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь-грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела

на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг-то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин, — все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, все, кроме той, которая любила «Вечно ты разыгрываешь недотрогу», — говорила ей Фэйворитка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары — это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в

достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, — все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза, — вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А легкие вскрики, преследование друг друга в зеленой траве, девическая талия, которую обнимают на бегу, словечки, звучащие, как музыка, обожание, предательское звучание одного какого-нибудь слога, вишни, вырванные губами из губ, — все это искрится, проносясь мимо, в каком-то божественном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как изобразить их. «Отплытие на Киферы!» — восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем

сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое, прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но зато покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Предлагаю ослов!», и, условившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси — происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты — этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди раскачали большую сетку — качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Качая красавиц и вызывая дружный смех и взлет юбок, складки которых восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испа-

нец, — ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, — напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz
Amor me llama,
Toda mi alma
Es en mis ojos,
Porque ensenas
A tus piernas.[18]

Одна только Фантина отказалась качаться.

— Терпеть не могу, когда ломаются, — ядовито пробормотала Фэйворитка.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что

---

[18] Примечания: 18
[broken link: #rn_118]

Я из Бадахоса.
Любовь меня зовет.
Вся душа моя
В моих глазах,
Когда ты показываешь
Свои ножки. (исп.)

из этого! «В воскресенье не устают, — говорила Фэйворитка, — по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фэйворитка восклицала:

— Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

— Терпение, — отвечал Толомьес.

ГЛАВА ПЯТАЯ
У бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неуютная комната с альковом и кроватью в глубине (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен: пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем);

два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном гора пышных букетов вперемешку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим — четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок. Кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и большой беспорядок под ним.

Ногами под столом вы громко топотали[19], — как сказал Мольер.

Так обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб — гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тю-

[19] Примечания: 19

Из комедии Мольера «Шалый, или Все невпопад». Перевод Е. Полонской.

ильрийского дворца. Площадь Согласия. вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах; они еще не совсем исчезли в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,

Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелом размышлении, ваше вели-

чество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простой люд провинций беспокоен, парижский — ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом; теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем — это добродушные канальи».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это случается, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках; она являлась там воплощением свободы и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные канальи», как думают некоторые.

Парижанин по отношению к французу — то же, что афинянин по отношению к греку; никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности, но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику — и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье — и вы увидите Аустерлиц. Он — точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве — он вербуется в солдаты; речь идет о свободе — он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны! Любую улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинские ущелья. Пробьет час, и этот житель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой, тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись

с армией, завоевала Европу. Он поет — в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! До тех пор, пока его припев всего лишь Карманьола, он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть Марсельезу — и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! И те и другие одинаково неуловимы: любовные речи — это облака, застольные — клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась, Листолье дул в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фэйворитка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

— Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

— А что бы ты сделала, Фэйворитка, если б я тебя разлюбил?

— Я! — вскричала Фэйворитка. — Ах, не говори

этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бросилась бы на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, велела бы арестовать тебя.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фэйворитка продолжала:

— Да я бы просто закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фэйворитку среди общего гама:

— Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

— Я-то? Да я его ненавижу, — так же тихо ответила Фэйворитка, снова берясь за вилку. — Он скупой. Я люблю мальчика, который живет напротив моего окна. Такой милый молодой человек! Ты не знаешь его? Сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Сейчас он начнет кричать. Голубчик! Да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы чуть не на кры-

шу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! И до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я ставлю тесто для блинчиков, — руки у меня были все в тесте, — и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова голову потерять из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья!

Фэйворитка помолчала немного, потом продолжала:

— Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого! И потом, погляди только, какая гадость, — мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мудрость Толомьеса

Одни пели, другие болтали; голоса сливались в нестройный шум. Толомьес прекратил его.

— Полно молоть вздор, да еще без передышки! — воскликнул он. — Для блестящей беседы надо обдумывать слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. На спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать — замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном. Послышался глухой ропот.

— Толомьес! Оставь нас в покое, — сказал Блашвель.

— Долой тирана! — заявил Фамейль.

— Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! — вскричал Листолье.

— На то и воскресенье, — продолжал Фамейль.

— Мы совершенно трезвы, — добавил Листолье.

— Толомьес! — произнес Блашвель. — Оцени мою канальскую выдержку.

— Да, поистине монканальмскую, — скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

— Друзья! — вскричал Толомьес тоном человека, который опять стал пользоваться авторитетом. — Придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур — это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, а разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, — не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества,

забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра, Моисей — по поводу Исаака, Эсхил — по поводу Полиника, Клеопатра — по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит — «поварешка». А теперь возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в остротах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. *Est modus in rebus*[20]. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору — *gula punit Gulax*. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. Запомните: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя напи-

[20] Примечания: 20
Во всем должна быть мера (*лат.*) — стих из «Сатир» Горация.

сать на всем слово *finis*[21], нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирать на замок свой аппетит, загонять в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками, — а это подтверждают сданные мною экзамены, — из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав — это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фэйворитка слушала, с глубоким вниманием.

— Феликс! — сказала она. — Какое красивое

---

[21] Примечания: 21
Конец (*лат.*)

слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит — Счастливец.

Толомьес продолжал:

— Квириты, джентльмены, кавальеро, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую примочку, омовения свинцовым раствором и припарки из сахарной воды с уксусом.

— Я предпочитаю женщину, — сказал Листолье.

— Женщину! — возразил Толомьес. — Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея — это ее конкурент.

— Толомьес, ты пьян! — вскричал Блашвель.

— И еще как! — добавил Толомьес.

— В таком случае будь весел, — продолжал Блашвель.

— Согласен, — отвечал Толомьес.

Наполнив стакан, он встал.

— Слава вину! *Nunc te, Bacche, canam*![22] Прошу прощения у дам, — это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ, — такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте — двенадцать, альмуд Канарских островов — двадцать пять, куартин Балеарских островов — двадцать шесть, бочка царя Петра — тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться — неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение! Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю:

---

[22] Примечания: 22
Ныне пою тебя, Вакх! (*лат.*)

«Влюбленному свойственно ошибаться». Сударыни, я боготворю вас всех! О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фэйворитки, — о нимфы и музы! — как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фэйвориткой. О Фэйворитка, у тебя ионические губы! Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион. прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного его кисти. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву, — это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фэйворитка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять

именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я очень несчастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить тому, что они как будто бы обозначают. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия. На вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина — умом. Я ничего не скажу о Фантине — это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем видимом мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, — всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы — сама расцветающая заря! Сударыни, второй совет: не выходите замуж! Замужество — это прививка; быть может, она

окажется удачной, а быть может, и неудачной. Избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар. О пол грызунов! Твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар. Так вот, слушайте внимательно, сахар — это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. Вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы! Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Сходитесь, расходитесь с дамами, как в кадрили. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина

— это *casus belli*[23], хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм — саксонок, Цезарь — римлянок. Человек, у которого кет возлюбленной, парит, как ястреб, над чужими любовницами. Я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, который он бросил итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».

Толомьес остановился.

— Передохни, Толомьес, — сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен с жалобным напевом, какие поют мастеровые, — песен, состоящих из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая вместе с ним. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

Отцов-глупцов не в меру

---

[23] Примечания: 23
Повод к войне (*лат.*)

Снабжали прихожане,
Чтобы Клермон-Тонеру
Стать папою в Сен-Жане.
Но кто родился шляпой,
Вовек не будет папой,
И у отцов-глупцов приход
Забрал обратно весь доход.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

— Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судоговорения и процесс пищеварения! Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир — это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей — это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О пре-

лестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!

Он ошибся и поцеловал Фэйворитку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Смерть лошади

— А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! — вскричала Зефина.

— Я предпочитаю Бомбарду, — заявил Блашвель. — Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

— Лучше б у них так сверкали тарелки, — возразила Фэйворитка.

Блашвель настаивал на своем:

— Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

— Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, — заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика.

Наступило молчание.

— Толомьес! — вскричал Фамейль. — Только что у нас с Листолье был спор.

— Спор — хорошая вещь, — ответил Толомьес, — но ссора лучше.

— Мы спорили о философах.

— Отлично.

— Ты кому отдаешь предпочтение — Декарту или Спинозе?

— Дезожье, — сказал Толомьес.

Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

— Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, — это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его!

Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль

— Толомьес! Твое мнение — закон. Кто твой любимый автор?

— Бер...

— ...кен?

— Нет... шу.

Толомьес продолжал:

— Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Нам известно это от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! *Nil sub sole novum*[24], — сказал Соломон; *Amor omnibus idem*[25], — сказал Вергилий; медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили

---

[24] Примечания: 24

Нет ничего нового под солнцем (*лат.*)

[25] Примечания: 25

Любовь у всех одна и та же (*лат.*) — стих из «Георгик» Вергилия.

на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа — душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем, чтобы уже никогда больше не под-

няться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

Ей был отчизной мир, где возу и карете
Равно враждебен темный рок,
И разделив судьбу всех кляч на этом свете,
Она сломилась, как цветок.

— Бедная лошадка! — вздохнула Фантина.

А Далия вскричала:

— Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой!

Тут Фэйворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

— Ну, а где же сюрприз?

— Совершенно верно. Час пробил, — ответил Толомьес. — Господа! Время удивить наших дам настало. Сударыни! Обождите нас здесь несколько минут.

— Сюрприз начинается с поцелуя, — сказал Блашвель.

— В лоб, — добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фэйворитка захлопала в ладоши.

— Это уже и сейчас интересно, — сказала она.

— Только не уходите надолго, — негромко проговорила Фантина. — Мы вас ждем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Весел конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.

— Возвращайтесь скорее! — крикнула Фантина.

— Интересно знать, что они принесут нам? — сказала Зефина.

— Уж, конечно, что-нибудь красивое, — ответила Далия.

— Мне бы хотелось, — сказала Фэйворитка, — чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезавших голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил девушек. Фэйворитка восклицала:

— Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

— Как странно! — сказала она. — Я думала,

что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фэйворитка пожала плечами.

— Нет, эта Фантина просто поражает меня! Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фэйворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

— Что же это? — произнесла она. — А сюрприз?

— Да, да, — подхватила Далия, — где же этот знаменитый сюрприз?

— Как долго их нет! — вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

— Что это? — спросила Фэйворитка.

Лакей ответил:

— Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

— Почему же вы не принесли ее сразу?

— Потому, — отвечал слуга, — что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час.

Фэйворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо.

— Странно! — сказала она. — Адреса нет. Но вот что здесь написано:

«*Это и есть сюрприз*».

Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

«О возлюбленные!

Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам и мамашам. Выра-

жаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна — это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте!

Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.

Блашвель.
Фамейль.
Листолье.
Феликс Толомьес.

Post-scriptum. За обед заплачено».

Девушки переглянулись.

Фэйворитка первая нарушила молчание.

— Что ж? — воскликнула она. — Как-никак, это забавная шутка.

— Да, очень смешно, — подтвердила Зефина.

— Это, должно быть, выдумка Блашвеля, — продолжала Фэйворитка. — Если, так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история!

— Нет, — сказала Далия, — это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

— В таком случае, — возразила Фэйворитка, — смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!

— Да здравствует Толомьес! подхватили Далия и Зефина.

И покатились со смеху.

Фантина тоже смеялась.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ДОВЕРИТЬ ДРУГОМУ — ЗНАЧИТ ИНОГДА БРОСИТЬ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой одна мать встречает другую

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым. и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Сержант Ватерлоо».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, загораживавший улицу перед харчевней «Сержант Ватерлоо», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей грома-

дой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживала два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей отвратительную бурую охру, какою часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо-под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, которых вполне можно было в нее впрячь, и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, Шекспир — Калибана.

Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить

ее, а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли; в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две девочки; одной было года два с половиной, другой — года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, мать одной из девочек увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой — темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими милыми

головками, осиянными счастьем и залитыми светом, высился гигантский передок телеги, почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, — что могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов?

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

Так надо, — рыцарь говорил...

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая петь романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с игравшими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был прелестный: розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись

великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

А ее мать казалась печальной. Убогая одежда выдавала работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким, завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, повязанный в виде косынки, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, кожа на исколотом иглой указательном пальце загрубела; на ней была коричневая грубой

шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней внимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, легкомыслия и музыки, — наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Орошенная Толомьесом, Фантина сразу узнала нужду. Она потеряла из вида Фэйворитку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал,

— увы! подобные разрывы всегда бесповоротны, — она оказалась совершенно одинокой, между тем ее привычка к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к писцу, и тот написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь считает их за детей? Все пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не считал за человека это невинное создание, и в душе у нее поднялась злоба на этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Ей

необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжкой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием перед жизненными невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева отдала дочери — это был единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз — святого. Она продала все, что имела, и получила двести франков; после уплаты мелких долгов у нее осталось очень мало — около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда прекрасным весенним утром она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это

надорвало ей грудь, и она покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая, чтобы не очень устать, часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Две девочки очаровали ее.

Она смотрела на них с глубоким волнением. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась,

чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье у двери; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

— Меня зовут госпожа Тенардье, — сказала мать двух девочек. — Мы с мужем держим этот трактир.

И она снова замурлыкала:

Так надо, — рыцарь повторил, —
Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная, нескладная женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. Странная вещь — на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта

сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы то, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял — вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла сегодня утром, но она несла на руках ребенка, устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять шла пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало, — она ведь еще такая крошка! Пришлось снова взять ребенка на руки, и ее сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть... На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь от-

личной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то, что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала.

— Поиграйте втроем.

В этом возрасте дети легко сближаются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.

Женщины продолжали беседу.

— Как зовут вашу крошку?

— Козетта...

Козетта — читай Эфрази. Малютку звали Эфра-

зи. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

— Сколько ей?

— Скоро три.

— Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство. Произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк, — сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

— Как быстро сходится детвора! — вскричала мамаша Тенардье. — Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила мамашу Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

— Вы не согласились бы оставить у себя моего

ребенка?

Тенардье сделала движение, не означавшее ни согласия, ни отказа и выражавшее лишь изумление.

Мать Козетты продолжала:

— Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать!» Да, да, пусть они будут как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

— Надо подумать, — ответила Тенардье.

— Я стала бы платить шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни!

— Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

— Шестью семь сорок два, — сказала Тенардье.

— Я заплачу, — согласилась мать.

— И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, — добавил мужской голос.

— Всего пятьдесят семь франков, — сказала

г-жа Тенардье, сопровождая подсчет все той же песенкой:

Так надо, — рыцарь говорил...

— Я заплачу, — сказала мать, — у меня есть восемьдесят франков. Хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать, и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь за моей дорогой крошкой.

— Есть у девочки одежа? — снова раздался мужской голос.

— Это мой муж, — пояснила Тенардье.

— Разумеется есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжечкн. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

— Вам придется все это отдать, — снова сказал мужской голос.

— А как же иначе! — удивилась мать. — Было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

— Ладно, — сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и на утро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. Есть такие разлуки, которые как будто протекают спокойно, но они полны отчаяния.

Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с матерью Козетты и, придя домой, сказала:

— Я только что встретила женщину, — она так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

— Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

— А ведь я об этом и не думала, — ответила жена.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардье?

Пока что скажем о них два слова. Мы дополним наш набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, — к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе отдельные недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если их подогреет зловещее пламя. В характере жены таилась скотская грубость, в характере мужа — прирожденная под-

лость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете черные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом-сержантом, как он говорил. По-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое

время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, — и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от *Клелии* к *Лодоиске* и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м — ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и распространял свое разрушительное действие даже на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. В них топила она остатки своего разума. Именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась мечтательницей рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какую премудрость за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сентиментов — почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримесным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, — «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать — пятнадцать моложе

мужа. С течением времени, когда ее поэтически свисавшие локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, она превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Бедняжку младшую чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельмы.

Впрочем, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и социальный оттенок В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта — если еще существуют виконты — зовут Тома, Пьером иди Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» — аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое вторжение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое

и глубокое: Французская революция.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Жаворонок

Чтобы благоденствовать, недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы папаше Тенардье удалось избежать опротестовывания векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственно. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря — в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это

увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он потребовал двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Грустно, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы» Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует, воздух, принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колоту-

шек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданье! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте — копия матери. Меньше формат, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье! Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности,

ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! — восклицал он. — Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух сестренок; как только она немножко подросла — то есть едва достигнув пятилетнего возраста, — она стала служанкой в доме.

— В пять лет! — скажут нам. — Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не слыхали о недавнем процессе Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал»?

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали

себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» — говорили про нее Тенардье.

Несправедливость сделала ее угрюмой, нищета — некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое создание, занимавшее не боль-

ше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, вставшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

КНИГА ПЯТАЯ
ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла

Что же, однако, сталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский.

Это было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один

из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше — подчеркнуть его.

Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности — имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих — благодеяние для края, во-вторых — улучшить выделку товара

— выгода для потребителя, в-третьих — дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, — выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, — что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя, — что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег — самое большее, несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле-Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки, с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль-Приморский, в здании ратуши

вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности. которую он так изумительно преобразовал, Монрейль-Приморский стал крупным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль-Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда в полной уверенности, что по-

лучит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин — хорошего поведения, от тех и других — честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем больше оснований, что Монрейль-Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он — даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.

Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, среди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам,

но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году — это все знали — у Лафита на его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль-Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа — жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новые — одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные должностные лица в государстве — это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют — учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим

центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили. «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже соблюдал некоторые обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому всюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше — герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что состоятельный фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те

времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек — всего их стало двенадцать.

Но вот, в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению префекта за заслуги, оказанные краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля-Приморского. Лица, называвшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! Что мы говорили?» Весь город пришел в волнение. Слух оказался обоснованным Несколько дней спустя о назначении сообщалось в *Монитере*. На следующий день Мадлен от него отказался.

В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Ордена!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним, и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля-Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты, для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему было сделано множество лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек.

Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное. не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоте».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали — «Торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали «Честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали. «Авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить «Грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, и мольбы эти были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки «*От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти напопятную, если выпал случай сделать добро?*»

Это была третья фаза его восхождения. Дядюш-

ка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Суммы депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и в первые дни У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему любезностей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Славный медведь!» — говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги — это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством

увеличивался и его досуг, он, видимо, старался употребить его на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он живал в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу

раствором поваренной соли, и выгонять вредных жуков, развешивая повсюду, на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах, пучки цветущего шалфея. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост — сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья — вкусная зелень, а в старой крапиве — такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли, и никаких забот и ухода. Правда, семя ее, по мере созревания, осы-

пается, и собрать его бывает нелегко. Вот и все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! — После минутного молчания он добавил: — Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева»

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священнослужителями, молившимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным молитвам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как

обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» — восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.

Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Богач, а совсем не гордый. Счастливец, а с виду невеселый».

Предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жительниц Монрейля-Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр! Покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной

мебелью, правда, из красного дерева, но довольно некрасивой и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому серебряных, «потому что на них была проба». Замечание вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, могила, склеп.

Шушукались и о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время, «так что, — добавляли кумушки, — господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Господин Мадлен в трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Диньского мириэля, прозванного монсеньером Бьенвеню и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.

Епископ Диньский — добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, — за несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом.

Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать,

как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, — все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать — любят вопреки вам; вот этой уверенностью и обладает слепой. В такой скорби ощущать заботу о себе — значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа — женщина. Чья-то рука поддерживает вас — это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу — это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание — это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнущийся тростник, касаться руками

Провидения и брать его в объятия — великий боже, какое это блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, — это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы — сияние среди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно,

он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по епископу Диньскому», — говорили в гостиных; это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое сен — жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:

— Скажите, господин мэр, покойный епископ Диньский был, вероятно, в родстве с вами?

— Нет, сударыня, — ответил он.

— Почему же вы носите по нем траур? — снова спросила старушка.

— Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, — ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказыва-

ли об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Зарницы

Мало-помалу все проявления неприязни исчезли. Вначале Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем прекратилось и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время, — это было около 1821 года, — когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле-Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «его преосвященство» произносились в 1815 году в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая в течение лет семи, заражая одного жителя за дру-

гим, наконец охватила весь край.

Только один человек в городе и во всем округе не поддавался этой болезни, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. В иных людях и в самом деле как бы таится инстинкт животного; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он внушает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется советам разума, разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки, а человека-лису — о близости человека-льва.

Иной раз, когда Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпаемый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он

поднимал верхнюю губу к самому носу, — многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».

Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и служил он в полиции.

В Монрейле-Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции Шабулье, секретаря графа Англеса — министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле-Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чинов бывают особые лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно — соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что — от устрицы до орла, от свиньи до тигра — все животные таятся в людях и каждое в отдельности — в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном.

Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные — это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью в полном смысле этого слова; да и к чему им это? Наши души, напротив, существуя реально и обладая конечной целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.

Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предрешает

сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский надзиратель Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, если б он вырос, то непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Когда Жавер вырос, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе задатки моральной стойкости,

порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, поясним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно

печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, — из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями бунта. Он был проникнут слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого министра до сельского стражника; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может».

Он всецело разделял доходящие до абсурда убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как

все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: наблюдать и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире, он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим — жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока — вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели

его глаз, исчезавших под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот являлась необходимость — и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: Темные личности. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недремлющим оком, постоянно

устремленным на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов Мадлен заметил это, но, видимо, не придал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно разыскивал все следы, какие только мог оставить за собой в прошлом дядюшка Мадлен. Очевидно, ему удалось узнать — иногда он намекал на это, — что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он у меня в руках!» После этого целых три дня он был задумчив и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, человеческое существо не может не ошибаться — такова необходимая поправка

к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным; сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был отчасти сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Дедушка Фошлеван

Как-то утром Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей, Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого Звали дедушка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в

Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок — и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом — приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились.

— Помогите! — кричал старик Фошлевая, — Добрые люди, спасите старика!

Мадлен обратился к присутствующим:

— Нет ли домкрата?

— За ним пошли, — отвечал один крестьянин.

— А скоро его сюда доставят?

— Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрых четверть часа.

— Четверть часа! — вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

— Нельзя ждать четверть часа, — сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

— Ничего не поделаешь!

— Да ведь будет поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

— Как не видеть!

— Послушайте, — продолжал Мадлен, — пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной

и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

— Десять луидоров! — сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

— Тут нужна дьявольская сила. Как бы тебя самого не придавило!

— Ну же! — настаивал Мадлен. — Двадцать луидоров!

Опять молчание.

— Желания-то у них хватает... — произнес чей-то голос.

Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, когда тот подошел.

— А вот силы не хватает, — продолжал Жавер. — Чтобы поднять на спине такую телегу, надо быть страшным силачом.

Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово:

— Господин Мадлен! В своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил:

— Это был один каторжник.

— Вот как! — отозвался Мадлен.

— Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

— Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглянул толпу.

— Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

— В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

— Ох! Сейчас меня раздавит! — крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он уже был под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и ти-

шины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то и вас задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос:

«Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил, что это сам господь. А на лице Мадлена было какое-то странное

выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями монахинь и местного священника, Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог

бы ощутить пес, который под одеждой хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее показательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства есть один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налогов сократились в Монрейльском

округе на три четверти, — тогдашний министр финансов де Виллель часто приводил этот округ в пример другим.

Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Госпожа Виктюрньен тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, она воспряла духом. Жить честным трудом — какая это милость неба! В самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла комнатку и омеблировала ее в кредит,

в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, а научилась только подписывать свое имя, и ей приходилось для переписки с ними обращаться к писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. «Почему этот господин выходит только в сумерки? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому. Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее „полным-полно“ этой бумаги?» и т.п., и т.п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря, совершенно им безразличных, расходуют

больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинуясь одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо — это

ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

Многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, — мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина без того, чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Эта кумушка была мегера по имени г-жа Виктюрньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Г-же Виктюрньен было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, когда-то эта женщина была молода. В молодости, в самый разгар 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была худющая, злющая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть покойного монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Во время Реставрации она стала святошей, столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землица, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрньен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени мэра пятьдесят франков и,

заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени мэра, уехать из города.

Это случилось в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она покинула мастерскую и пошла домой. Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Фантина чувствовала, что она не в силах защищаться. Кто-то посоветовал ей обратиться к мэру; она не посмела. Мэр дал ей пятьдесят франков, потому что был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Торжество госпожи Виктюрньен

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Мадлен почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, не отказывая в подаянии, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная всей полнотой власти и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Пятьдесят франков она взяла из суммы, которая была предоставлена Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся

работницам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель — и какую мебель! — сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют, как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за умением довольствоваться малым идет умение жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во

второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и приободрилась.

Как-то раз она сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения — с другой, все это вполне насытит меня».

Жить вместе с Козеттой было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка делить ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: Моргорита, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, много таких праведниц; когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантине было так стыдно, что она не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди смотрят ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как хотелось Фантине вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к поте-

ре уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два она осмелела и как ни в чем не бывало выходила на улицу... «Мне все равно», — говорила она.

И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрньен видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, видела, в каком жалком состоянии находится «эта тварь», поставленная благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей — свои, подлые радости.

Непосильная работа изнуряла Фантину: сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Последствия торжества

Ее уволили с фабрики в конце зимы; прошло лето, снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо — словно пробоина во мраке, а день — как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень — и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами; содержание их приводило ее в отчаяние, а уплата почтовых сборов разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

— Какие замечательные волосы! — вскричал

цирюльник.

— А сколько бы вы дали мне за них? — спросила она.

— Десять франков.

— Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине Бедный Жаворонок продолжал зябнуть.

Фантина думала. «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову; она все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины Лишившись отрады расчесывать волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее бед, она начала ненавидеть и его — его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услыхав однажды это пение и этот смех, стару-

ха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».

И вот, со злобой в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.

Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого ангелочка. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» — и смеялась от радости. Кашель привязался к ней, и она часто обливалась потом.

Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке:

— Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько

это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!

Она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее:

— Чего это вы так развеселились? Она ответила:

— Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово — крестьяне!

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина замешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся

девушку и крикнул:

— Эй ты, хохотунья! У тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый.

— Что это еще за резцы? — спросила Фантина.

— Резцы, — важно отвечал зубной лекарь, — это передние зубы Два верхних зуба.

— Какой ужас! — вскричала Фантина.

— Два наполеондора! — прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. — Везет же людям!

Фантина убежала и заткнула уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

— Поразмысли, красотка! Два наполеондора на улице не валяются. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

— Вы только представьте себе! Это какой-то изверг. И как только таким людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого

этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

— Сколько же он тебе предложил? — спросила Маргарита.

— Два наполеондора.

— Это сорок франков.

— Да, — сказала Фантина, — это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

— Скажите, вы не знаете, что это такое — сыпная горячка?

— Знаю, — ответила престарелая девица, — это такая болезнь.

— И на нее требуется много лекарств?

— О да! Страшно много.

— А что при этом болит?

— Да все болит, все тело.

— И к детям она, значит, тоже пристает?

— К детям-то всего чаще.

— А от нее умирают?

— Сколько угодно, — ответила Маргарита. Фантина спустилась по лестнице и еще раз пере-

читала письмо.

Вечером она вышла из дому. Люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге.

— Господи помилуй! — воскликнула она. — Вся свечка сгорела! Видно, случилось недоброе!

Она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженою голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

— Иисусе! — изумилась Маргарита. — Что с тобой случилось, Фантина?

— Ничего, — ответила Фантина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве два

наполеондора, блестевшие на столе.

— Господи Иисусе! — снова вскричала Маргарита — Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

— Достала, — ответила Фантина и улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она отослала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта была здорова.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже нагибаясь. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький

розан засох. В глиняном кувшине из-под масла, в другом углу, теперь была вода; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фан-тина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, — это было заметно по некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы устраивали ей скандалы и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее блестели, она ощущала постоянную боль в спине, в верхушке левой лопатки. Она сильно кашляла. Она ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к

девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее почти всю обстановку, все повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Тенардье написал ей, что. право же, он был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и притом немедленно; в противном случае он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там — будь что будет, пусть околевает, это ее дело. «Сто франков! — подумала Фантина. — Но разве есть ремесло, которое может дать сто су в день?»

— Ну что ж, — сказала она. — Продадим остальное.

И несчастная стала публичной женщиной.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Christus nos liberavit[26]

Что же такое представляет собой история

---

[26] Примечания: 26
Христос наш освободитель (*лат.*)

Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа правит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что европейская цивилизация упразднила рабство. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, имя его — проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и при этом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обесчещена, и она сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все, что было ей от-

пущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби, небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до этого? Она — губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Что же представляют собой все эти судьбы, гонимые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому это ведомо, видит весь этот мрак.

Он один. Имя ему — бог.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Досуги господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, в Монрейле-Приморском — в частности, всегда есть особая порода молодых людей, которые в провинции проеда-

ют свои полторы тысячи ливров ренты с таким видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, — это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостиной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задирают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазеют на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кофейнях, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают старые сапоги до дыр, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но в сущности говоря, это просто бездельники. Среди таких бездельников есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадаются и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, надетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, тоже оливковых, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, от одного до одиннадцати, — предел, которого никто не переступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями. волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами

Потье. Вдобавок ко всему — усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, шпоры — пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников, человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морильо», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.

Всякий раз как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например — «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» и т.п. и т.п. Звали франта господин Баматабуа. Женщина, уныло разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, — не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопая; воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, давясь хохотом, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух

передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, хохотавших, гикавших, хлопавших в ладоши; мужчина отбивался, шляпа с него слетела, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженая, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал:

— Иди за мной.

Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера.

Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и широким шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Тьма-тьмущая зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть — все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина, неподвижная и безмолвная, опустилась на пол в углу, съежившись,

как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и по своему усмотрению отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту — он сознавал это — табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно лучше разрешить трудную задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел на улице, как общество в лице домо-

владельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. Он сам видел это, он, Жавер. Он молча писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

— Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. — И, обернувшись к Фантине, добавил: — Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастная задрожала.

— Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! — вскричала она. — Шесть месяцев зарабатывать семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардье больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.

— Господин Жавер! — говорила она, в отчаянии ломая руки. — Умоляю вас, пощадите меня! Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что я говорю правду! Клянусь богом, я не виновата. Этот господин, которого я не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается

совать снег за ворот, когда мы ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, господин забавляется». Я вела себя с ним хорошо, я с ним не разговаривала. Но он сунул мне снег за шиворот. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам на спину неожиданно попадает что-нибудь холодное... Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи. мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне при-

везут мою крошку. Боже всемогущий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардье — крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Подайте им деньги, и никаких разговоров. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, зимой! Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до самого пола, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая.

Великая скорбь — это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце, но деревянное сердце смягчить нельзя.

— Ну, — сказал Жавер, — довольно, я выслушал тебя! Ты все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, сам бог не сможет тут ничего поделать.

При этих торжественных словах: «Сам бог не сможет тут ничего поделать», она поняла, что приговор произнесен. Она приникла к полу и прошептала:

— Смилуйтесь!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел человек Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

— Подождите!

Жавер поднял глаза и узнал Мадлена. Он снял

шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

— Извините, господин мэр... — начал он.

Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она вскочила, вытянулась во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к Мадлену. устремила на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

— Ах, вот что! Так это ты — господин мэр?

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Мадлен вытер лицо и сказал:

— Инспектор Жавер! Отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, это было столь чудовищно, что он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. В глубине души он с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может статься, некогда был этот мэр, и к его ужасу совершившееся преступление начинало

представляться ему вполне естественным. Когда же мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

— На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите, господин Жавер: он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен каких-то негодниц. Ну разве это не чудовищно! Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, гос-

подам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение — вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну и живи, как знаешь. А ведь у меня моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он сунул мне ком снега за ворот и испортил платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте, господин Жавер: я никогда умышленно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут они гораздо лучше. О господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила.

Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем

кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его в карман и спросил Фантину.

— Сколько, вы говорите, у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, тут обернулась к нему.

— Не с тобой говорят!

И обратилась к солдатам:

— Вы видели, ребята, как я плюнула ему в лицо? А, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, доброго господина Жавера!

Потом она снова обратилась к Жаверу:

— Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто, мужчина для забавы сунул женщине за ворот снегу и насмешил господ офицеров, — надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы, — вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь если бы вы

посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри больше не попадайся, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть делают со мной все что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я не ожидала, что этот господин сунет мне снегу за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, дотроньтесь, дайте руку, не бойтесь, вот здесь...

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди грубую ручищу Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она быстро поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

— Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я ухожу.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, уставив глаза в пол; он был похож на сдвинутую

с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти — выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

— Сержант! — крикнул он. — Разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто вам разрешил отпустить ее?

— Я, — сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук только что украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась; не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, она в зависимости от того, кто говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера, с Жавера на Мадлена.

Было ясно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту огово-

рился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались у него на глазах, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство — словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и — неслыханное дело! — сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

— Господин мэр! Это невозможно.

— Как так? — спросил Мадлен.

— Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

— Полицейский надзиратель Жавер, — возразил Мадлен примирительным и спокойным тоном, — послушайте. Вы честный человек, и мы легко поймем друг друга. Вот как обстояло дело.

Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались люди, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

— Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.

— Это мое дело, — возразил Мадлен. — Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

— Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

— Полицейский надзиратель Жавер! — возразил Мадлен. — Высшее правосудие — это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

— А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.

— В таком случае ограничьтесь повиновением.

— Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Мадлен мягко ответил ему:

— Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

— Мне очень жаль, что я должен ослушаться господина мэра, это первый раз в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Ему принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а этот проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, каким он никогда еще в этом городе не говорил:

— Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну последнюю попытку:

— Однако, господин мэр...

— Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

— Позвольте, господин мэр...

— Ни слова больше.

— Но я...

— Ступайте, — сказал Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой — как добрый

ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, — вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, — этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается ее сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таящее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как человек выдержанный, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

— Я слышал ваш рассказ. Я ничего не знал об этом Думаю, что все это правда, больше того: чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы ушли из моей мастерской. Отчего же вы не обратились ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю

за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если не пожелаете сами. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. Более того, — слушайте, я это утверждаю — если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!

Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О — о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.

Тут она лишилась сознания.

КНИГА ШЕСТАЯ
ЖАВЕР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Начало умиротворения

Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где — жил он сам, и поручил ее сестрам — те сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее Мадлена, — он устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь на-

рушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

— Что это вы делаете?

Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее руку, он пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, я немного поспала, — ответила она, — кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

— Я молился страдальцу, который там, на небесах.

И мысленно добавил: «За страдалицу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

— Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел — удел избранных! Именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, — начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля-Приморского. Оно было адресовано в Париж, надпись на конверте гласила: «*Господину Шабулье, секретарю префекта полиции*». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль-Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардье был потрясен.

— Черт побери, — сказал он жене, — мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову! Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу.

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонину и Азельму, перенесших длительную болезнь. А Козетта, как мы уже говорили, была здорова. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардье приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

— Черта с два! — сказал Тенардье. — Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были

проникнуты кротостью и смирением, страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару:

— Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я грешила ради нее, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение божие. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы? Ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них не отпадают.

Мадлен навещал ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

— Скоро я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

— Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

Бледное лицо матери сияло.

— О, как я буду счастлива! — говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с

каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Мадлен спросил врача:

— Ну как?

— У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? — вопросом на вопрос ответил врач.

— Да

— Так поторопитесь с его приездом.

Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

— Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, Мадлен улыбнулся.

— Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.

— О да! — воскликнула она. — Он прав. Почему только Тенардье так долго держат у себя мою Козетту? Но она приедет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!

Тенардье, однако, «не выпускал ребенка из рук»

и все увиливал. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь зимой То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т.д., и т.д.

— Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, — сказал Мадлен — А если понадобится, поеду сам.

Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

«Господин Тенардье!

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь уважающая вас

Фантина».

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу — нашу жизнь. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Каким образом Жан может превратиться в Шана

Однажды утром, когда Мадлен сидел у себя в

кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более чем когда-либо, и с тех пор Мадлен ни разу его не видел.

— Пусть войдет, — сказал он.

Жавер вошел.

Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении порядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он не переменил позы. Он невольно вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и молча остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у циви-

лизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и солдафона, этого неспособного на ложь шпиона и непорочного сыщика, — физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, непременно сказал бы себе, наблюдая Жавера в эту минуту: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, за его креслом, и теперь стоял почти навытяжку с непритворным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; полный непоказного смирения и спокойной покорности, он ждал без единого слова и жеста, когда г-ну мэру

угодно будет обернуться, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем угадать, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

— Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простодушия:

— Дело в том, господин мэр, что совершено преступление.

— Какое?

— Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

— Кто этот низший чин администрации? — спросил Мадлен.

— Я, — сказал Жавер.

— Вы?

— Я.

— А кто же то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

— Вы, господин мэр.

Мадлен приподнялся. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

— Господин мэр! Я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Мадлен в изумлении хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

— Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку — это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

Помолчав, он добавил:

— Господин мэр! В прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

— Да почему? За что? — вскричал Мадлен. — Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступление? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили...

— Выгнали, — поправил его Жавер.

— Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не

понимаю...

— Сейчас поймете, господин мэр. Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

— Господин мэр! Полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

— Донесли?

— Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Мадлен, смеявшийся почти так же редко, как Жавер, вдруг рассмеялся.

— Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

— Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

— Я думал, что это так. У меня давно уже были подозрения Сходство, справки, которые вы наводили в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, что-то еще... всякие мелочи! Так или иначе, я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

— За... Как вы его назвали?

— За Жана Вальжана Это каторжник, которого

я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение — ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе... Словом, я это сделал. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Мадлен уже несколько минут снова занимался своими протоколами; тут он спросил с выражением полнейшего равнодушия:

— И что же вам ответили?

— Что я сошел с ума.

— Ну?

— Ну, и они были правы.

— Хорошо, что вы сами это сознаете!

— Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с непередаваемым выражением:

— Ах, вот как!

Жавер продолжал:

— Вот как это было, господин мэр. Говорят, что

в нашем округе, возле Альи-Высокая-Колокольня, жил старикашка по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты — Жан Вальжан!..» — «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» — Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака,

— говорит Бреве, — Ты — Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Еще бы! Вы, конечно, понимаете почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах, в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он появляется в этих краях. Ну-с, кем же б+л Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. При крещении Вальжану было дано имя Жан, а его мать носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе с каторги он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам — Шанматье! Вы следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не ока-

залось. Где она, неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередки исчезновения целого семейства. Вы ищете, но его уже и след простыл. Если эти люди не грязь, то они — пыль. От начала этих событий прошло тридцать лет, и в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпай и Шенильдье. Их выписывают с каторги и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений, Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст — ему пятьдесят четыре года, тот же рост, та же наружность, — словом, тот же человек, тот самый. Как раз в это время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье...

— И что же? — прервал его Мадлен.

Лицо Жавера, не умевшего лгать, было печаль-

но, Он ответил:

— Господин мэр! Правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

— Вы уверены в этом? — спросил Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

— Еще бы!

Задумавшись, он машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

— И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!», Жавер, этот высокомерный человек, был сейчас, сам того не сознавая, исполнен простоты и достоинства. Мадлен ответил на его просьбу следующим внезапным вопросом:

— А что говорит этот человек?

— Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если

это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок — для ребенка это шалость, для взрослого проступок, для каторжника преступление. Это кража, и притом за оградой владений. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. А тут еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет. Черт побери, тут есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан — хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать — и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, — другой не согласился бы стать Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем Мадлен, снова повернувшись к

письменному столу, спокойно разбирал бумаги, читая их — и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

— Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем пойдите к господину Шарселе — улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро-Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или через десять едете в Аррас по этому делу?..

— Нет, господин мэр, раньше.

— Когда же?

— По-моему, я уже говорил вам, господин мэр:

дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Мадлен сделал едва уловимое движение.

— И сколько времени оно продлится?

— Самое большее — день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь.

— Хорошо, — сказал Мадлен и жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

— Господин мэр! — сказал он.

— Что еще? — спросил Мадлен.

— Господин мэр! Мне остается напомнить вам об одном обстоятельстве.

— О каком?

— О том, что я должен быть уволен со службы.

Мадлен встал.

— Жавер! Вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление касается только меня. Жавер! Вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала

его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

— Я не могу согласиться с вами, господин мэр.

— Повторяю, это касается только меня, — сказал Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

— Я же ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Но это еще ничего. Подозревать — наше право, право полиции: хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, — в этом, пожалуй, кроется уже некоторое беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же? — спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое,

что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Значит, я был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!», оказались бы правы! Господин мэр! Я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и мне, Жаверу, она не нужна. Доброта, которая отдает предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, — такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Боже мой! Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, — ого! я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр! Я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И вот я споткнулся, я сам совершил промах. Ну

что ж! Уволен, прогнан, вышвырнут! Поделом! У меня есть руки, пойду землю пахать, ни от какой работы не откажусь. Господин мэр! Интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим своеобразное величие этому необычному поборнику чести.

— Посмотрим, — проговорил Мадлен и протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

— Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.

— Да, доносчику! — добавил он сквозь зубы. — С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Тут он низко поклонился и направился к выходу.

В дверях он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:

— Господин мэр! Я не оставлю службы до тех пор, пока не назначат заместителя.

Он вышел. Мадлен долго сидел в задумчивости,

прислушиваясь к твердым и уверенным шагам, постепенно затихавшим на каменных плитах коридора.

КНИГА СЕДЬМАЯ
ДЕЛО ШАНМАТЬЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле-Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое яркое воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них во всех подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня, Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лаза-

ристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую — сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; волопас становится кармелитом без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготовляет почву для сближения и сразу уравнивает сельского жителя с монахом. Блуза поширевот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня родом из Марин близ Понтуаза; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащивала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, приставала к ним с господом богом и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители — кроме больницы, иной кельи — кроме угла, сдающегося внаем, иной часовни — кроме приходской церкви, иного монастырского двора — кроме улицы города или же больничной палаты, иной ограды — кроме послушания, иной решетки — кроме страха божия, иного покрывала — кроме скромности». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал, сколько сестре Симплиции лет; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа — мы не смеем сказать «женщина» — кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная, не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо; звук ее голоса в одинаковой степе-

ни мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность лгать, полная неспособность сказать, даже по необходимости, даже невольно, что бы то ни было, не соответствующее истине, — такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье. «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку — трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь — да полно, существует ли она! Ложь — это воплощение зла. Солгать чуть-чуть — невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь-это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, — белизна,

сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская — это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к лакомствам и любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом по-латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно, чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припом-

нился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день ждала появления Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость Она говорила сестрам: «Я только тогда в живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило Увидев Мадлена, она сейчас же спросила:

— А Козетта?

— Скоро, — ответил он, улыбаясь.

Мадлен держал себя с Фантиной как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должка нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад — Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».

Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, постоял, потом вернулся и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье, однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко пост±чать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше

с поспешностью, какой до того не обнаруживал.

Мадлен застал Скофлера дома, за починкой сбруи.

— Дядюшка Скофлер! — сказал он. — Есть у вас хорошая лошадь?

— У меня все лошади хорошие, господин мэр, — возразил фламандец. — Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?

— Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

— Черт возьми! — воскликнул фламандец. — Двадцать лье!

— Да.

— Запряженная в кабриолет?

— Да.

— А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

— Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

— И проделать такой же путь?

— Да.

— Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры:

пять, шесть и восемь с половиной.

— Видите? — сказал он. — Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно, что двадцать лье.

— Господин мэр, — сказал фламандец — У меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булоне. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло — куда там! Брыкается, скидывает на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти — согласна, нести на себе — ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.

— И она пройдет такое расстояние?

— Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

— При каких же?

— Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса, а то я

заме» чал, что на постоялых дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

— За этим последят.

— Во-вторых... А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

— Да.

— А умеет ли господин мэр править?

— Умею.

— Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

— Согласен.

— Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

— Об этом мы уже договорились.

— Я возьму с вас тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

— Вот вам за два дня вперед.

— А в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем

маленьком тильбюри

— Согласен.

— Экипаж легкий, но открытый.

— Это мне безразлично.

— Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Мадлен не ответил.

— И что стоят холода? — продолжал фламандец.

Мадлен хранил молчание.

— И что может пойти дождь?

Мадлен поднял голову и сказал:

— Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.

— Слушаю, господин мэр, — ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: — Да! Только сейчас вспомнил! Ведь господин мэр еще не сказал, куда едет. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.

— Надежны ли передние ноги у вашей лошади? — спросил Мадлен.

— О да, господин мэр! Только придерживайте

ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

— Не забудьте: надо быть у моих дверей точно в половине пятого утра, — ответил Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода мэра, как дверь отворилась снова, это был мэр.

У него был все тот же бесстрастный и задумчивый вид.

— Господин Скофлер! — спросил он. — Во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

— А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

— Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

— В пятьсот франков, господин мэр.

— Вот они.

Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и уже не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков Впрочем, лошадь вместе с тильбюри стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

— Он едет в Париж, — сказала жена.

— Не думаю, — возразил муж.

Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и начал внимательно исследовать.

— Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, расстояние между почтовыми станциями! Он обернулся к жене.

— Понял.

— Ну?

— Пять миль отсюда до Эсдена. шесть от Эсдепа до Сен-Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем Мадлен вернулся домой. Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей: он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

— Уж не захворал ли господин мэр? Он был сегодня не такой, как всегда.

Комната кассира приходилась как раз под комнатой Мадлена. Кассир не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услыхал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это были шаги: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина — и снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни Мадлена Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто.

При таком холоде открытое окно вызывало недоумение. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные, размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.

Вот что происходило в комнате Мадлена.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, — это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, — это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть

даже совести одного человека, хотя бы и ничтожнейшего из людей — это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть — это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых он сам стыдится, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту ушу, загляните в этот мрак. Там, под видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и свои поступки.

Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, перед которой он заколебался. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем однако ж.

Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он

стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, — произошло преображение.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники — как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль-Приморский, и здесь ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, он совершил то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать неуловимым и недоступным, и, обосновавшись в Монрейле-Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между

ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле-Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию, он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех появлявшихся в городе маленьких савояров, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, — мы уже об этом упоминали, — что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В то мгновение, когда было названо

имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он чувствовал, как нависают над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить Шанматье из тюрьмы и сесть самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы чудесно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, так прекрасно начав искупление, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно, но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе,

и должны говорить лишь то, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами: Мадлен собрался с мыслями, подавил волнение, подумал о Жавере и о сопряженной с этим опасности; с решимостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал свое спокойствие, — так борец подбирает с земли щит, выбитый у него из его рук.

Остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне — полное бесстрастие; он только принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя одно — что ему нанесен жестокий удар.

Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, решив, что должен поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствия, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, бу-

дучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Пообедал он с аппетитом.

Придя к себе, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и наше ч его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг под влиянием почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его

Ему казалось, что кто-то может его увидеть. — Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря — бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во

мраке.

«Что же случилось? Не сплю ли я? Что же это мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой Шанматье? Говорят, он похож на меня. Неужели? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и ничего не подозревал. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем оно кончится? Как быть?»

Вот какая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Ураган, потрясавший его волю и рассудок, ураган, во время которого он пытался отыскать просвет и принять решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место.

Так прошел первый час.

Однако расплывчатые очертания его мыслей постепенно стали принимать более определенные, более устойчивые формы, и ему удалось представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в деталях.

И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его хозяином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего боялся одного — услышать когда-нибудь, как произнесут его имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и — кто знает? — быть может, и его новая душа. Он содрогался при одной мысли, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова — «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним, что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него угрозой, что эта разорванная завеса лишь

углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый, почтенный «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, — если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало фактом, бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его прояснились. Он все более и более отчетливо представлял себе свое положение.

Ему казалось, что он пробудился от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того, чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее — либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пустует, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И еще он сказал себе, что у него нашелся заместитель, что по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора, — тот камень, который, подобно могильному камню, раз опустившись, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неописуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, какую-то смесь иронии, радости, отчаянья, — нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Он снова зажег свечу.

«Что же это? — сказал он себе. — Чего мне бояться? Зачем думать об этом? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный инстинкт, который, кажется, разгадал меня — да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! — и преследовал неотступно, эта страшная охотничья собака, которая вечно делала надо мной стойку, наконец-то запуталась, потеряла след и погналась за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал Жана Вальжана! Кто знает, быть может, даже он захочет теперь переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук провидения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо?

Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность, — я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему богу угодно так? Он хочет, чтобы я продолжал начатое, чтобы я творил добро, чтобы в будущем я стал прекрасным, поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня епитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Право, не понимаю, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет само собой! Пусть все вершит господь!

Так беседовал он со своей совестью, вглядываясь в ее сокровенные глубины, наклонясь над краем того, что можно назвать бездной его души. Он встал со стула и зашагал по комнате. «Вот что, — сказал он, — довольно думать об этом. Решение принято!»

Но он не испытал при этом ни малейшей радости. Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет

это приливом, преступник — угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, сделать одно необходимое замечание.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым бы этого не случалось. Быть может даже, Слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит за исключением уст. Реальные

душевные движения невидимы, неосязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляет собой это «принятое решение»? Он признался самому себе, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» ужасны. Допустить ошибку, совершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием, словом, ничего не делать — значит все делать! Это последняя ступень недостойного лицемерия! Это преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого умысла и злого дела.

И он с отвращением плюнул.

Он продолжал допрашивать себя. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!»? И ответил, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Неужели ради такой мелочи он сделал все то, что сделал? Разве не было у него иной, высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного

лишь этого всегда хотел он сам, и именно это заповедал ему епископ! Закрыть дверь в прошлое? Боже всемогущий, да разве так он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом презреннейшим из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ужасную смерть заживо, на смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана — вот это действительно значит завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если же не сделает — значит, он ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, покаяние сведется на нет, и ему останется сказать одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него, что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой, что он пристально смотрит на него, что отныне

мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжкое из усилий, но — увы! — так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

— Что ж, — сказал он, — надо решиться! Надо исполнить долг! Надо спасти человека!

Он произнес эти слова громко, не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как, погруженный в глубокое раздумье, он занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и опять зашагал по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!

Еще он видел перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он обнаружил разницу между ними. Он понял, что один из них безусловно добрый, тогда как другой мог стать злым; что один означает самоотречение, а другой — себялюбие;

что один говорит: ближний, а другой говорит: я; что источник одного свет, а другого — тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал за их борьбой. Он продолжал размышлять, а они все росли перед его умственным взором; они приобрели исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, некое божество сражается с неким великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома — великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его решение.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.

Но он ответил себе: «Если этот человек действительно украл несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы — и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник — значит вор».

Спустя мгновение ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание, и его помилуют.

Однако это предположение тут же исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет, и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, может быть даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что если он допустит, чтобы все «шло само собой» и останется в Монрейле-При-

морском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, всеобщее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель — все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все — каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления — все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан поступить так, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что. так или иначе, приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Он не терял мужества, но множество мрачных мыслей утомило его мозг. Он невольно стал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь — сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему

вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем на него снова нашло оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах да! — подумал он, — я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

— Как же так? — сказал он. — А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения. Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменилось.

— Что же это! — воскликнул он. — Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Думал лишь о том, что должен делать. Молчать или донести на себя. Укрыть себя или спасти свою душу? Превратиться в достойное презрения, но всеми уважаемое должностное лицо или в опозоренного, но достойного уважения каторжника? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне

одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычная форма себялюбия, но все же себялюбия! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне — что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь — целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; где бы только ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не

обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя?

Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела нерешительность, он задрожал; но это длилось недолго, и он спокойно ответил себе:

— Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, — он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю, — мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие растет, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм возникают деревни, на месте голых пустырей возникают фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь

край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем уж потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека — да ведь это в конце концов всего только мелодрама! — только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном и собираюсь спасти от наказания, может быть, чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого то негодяя, — должен погибнуть целый край! Несчастная женщина должна умереть в больнице, а бедная малютка, — как собачонка, на мостовой! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша же эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными спасает старого бродяга, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее

ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на укоры совести, которые будут мучить меня одного, на дурной поступок, который пятнает только мою душу, — да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.

Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он, наконец, отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, — думал он, — это так Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет са-

мо собой. Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы Я — Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака. И если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, — что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

— Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

— Вот что! — сказал он. — Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул ключик.

Он вставил этот ключик в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде потайного шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В тайничке лежали лохмотья — синяя холщовая блуза, потертые штаны, — старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все — лохмотья, палку и ранец.

Затем снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными

теперь, когда шкаф был пуст, приставил к дверце высокое кресло.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец вместе с лежавшим в нем отвратительным тряпьем догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но Мадлен не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Внезапно взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах да! — подумал он. — В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.

Нагнувшись над очагом, он погрелся. Ему стало очень хорошо.

— Как славно! Как тепло! — проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновенье ему почудилось, что внутренний голос крикнул ему: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! — говорил голос. — Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Отлично! Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Этот человек, этот старик не понимает, чего от него хотят; быть может, он ничего не сделал дурного; это невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоем имени, невинный человек, над которым твое имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в грязи и позоре! Отлично! Ты же будь порядочным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и

окруженный восхищением; а пока ты будешь жить здесь, среди радости и света, некто, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твое обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко все это устроил! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри него, еще не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко, но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до бога!»

Голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

— Кто здесь? — спросил он вслух в полной рас-

терянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

— Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Мадлен поставил подсвечники на камин. И снова начал то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло Мадлена. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути. могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял — сперва одно, потом другое, — внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность — этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его

положение, теперь толкало его в пропасть!

Он заглянул в будущее. Донести на себя, боже всемогущий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию — такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным! Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим некрашеным столиком. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого — боже правый! — каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, непосильный труд, карцер — все эти уже изведанные ужасы! И это в его-то годы, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыски-

вать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле-Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог! О, какая мука!. Ужели судьба может быть так же зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце?

И он снова и снова возвращался к мучительной дилемме, лежавшей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом?

Что делать, боже всемогущий, что делать?

Буря, укрощенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал

когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль — это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие — не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже окончательно, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Или должен молчать? Ему не удавалось мыслить отчетливо. Бесчисленные доводы, возникавшие в его мозгу, теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какой бы путь он ни избрал, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; направо ли, налево ли — перед ним зияет могила; сейчас он переживает предсмертную агонию — агонию своего счастья или своей добродетели.

Увы! Сомнения вновь овладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась в мучительной тоске эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный, в ту пору, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим

из бесконечности, таинственный мессия, воплотивший в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстранял рукою страшную, таящую угрозу чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму. в звездных глубинах неба.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал почти без отдыха уже пять часов подряд и, наконец, в изнеможении опустился на стул.

Он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи была бы неполной. Это эпизод

из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись:

Сон, который приснился мне в ту ночь

«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило, — днем или ночью.

Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.

Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходившей на улицу, всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.

В поле не было ни одного дерева.

Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было пепельного цвета, и сидел он верхом на лошади землистого цвета. У человека не было волос; мы видели его голый череп, а на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не

сказав ни слова.

Брат сказал мне: «Пойдем оврагом».

Мы пошли оврагом, в овраге не было видно ни кустика, ни мха. Все было землистого цвета, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет рядом со мной.

Я вошел в деревню. Я подумал, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)[27].

Улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой. На перекрестке стоял человек, прислонясь к стене дома. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.

Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я опросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.

При доме был сад. Я вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.

Я блуждал по деревне и вдруг понял, что это

---

[27] Примечания: 27
Скобки поставлены рукой Жана Вальжана (*Прим. авт.*)

город. Все улицы были пустынны, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял молчащий человек. И везде был только один человек. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.

Я вышел из города и стал бродить по полям.

Спустя некоторое время я обернулся и увидел толпу, шедшую за мной следом Я узнал всех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Не заметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были землистого цвета.

И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»

Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».

Он проснулся. Он продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорела. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда еще не светилась в небе.

В окно видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно раздавшийся на мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения «Как странно! — подумал он. — Их нет в небе, они спустились на землю».

Однако мгла рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, — он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить его очертания. Это было тильбюри. запряженное белой лошадкой. Услышанный им стук — был топот копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? — подумал он. — Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он задрожал и крикнул страшным голосом:

— Кто там?

Чей-то голос ответил:

— Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

— Что такое? — спросил он. — Что вам нужно?

— Господин мэр! Только что пробило пять часов утра.

— Ну и что же?

— Кабриолет подали, господин мэр.

— Какой кабриолет?

— Тильбюри.

— Какое тильбюри?

— А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?

— Нет, — ответил он.

— А кучер говорит, что приехал за господином мэром.

— Какой кучер?

— Кучер от господина Скофлера.

— От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

— Ах да! — сказал он. — От Скофлера!

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась

спросить еще раз:

— Что прикажете ответить ему, господин мэр?

— Хорошо, скажите, что я сейчас сойду.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем-Приморским осуществлялось при помощи кареток времен Империи. Каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей, в них было только два места — одно для почтаря, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный, продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а каретка — в желтый.

Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались уродливыми и горбатыми; издали, когда они ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они

напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами; передняя часть туловища у них короткая и они тащат за собой огромную заднюю часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра.

В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошадью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

— Спешит как на пожар! — заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в мучительном одиноборстве с самим собою, одиноборстве, достойном сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не

знал. Он ехал наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий это поймет. Кому не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и разобраться самому, этого требует простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; на расстоянии все кажется преувеличенным; быть может, увидев Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; там, правда,

будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпай, но разве они узнают его? — Какая нелепость! А Жавер теперь далек от всяких подозрений; все предположения и догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их как бы ни была жестока его судьба, в конце концов она в его руках, он волен в ней. Он цеплялся за эту мысль.

Однако, откровенно говоря, он предпочел бы не ездить в Аррас.

И все же он туда ехал.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, Мадлен чувствовал, как в нем самом что-то отступает.

Перед восходом солнца он был в открытом поле, Монрейль-Приморский остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра

есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но, помимо его сознания, мрачные силуэты деревьев и холмов, путем почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди там спокойно спят!»

Топот копыт, позвякиванье бубенчиков, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым — когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе: у этих лошадей большая голова и большое брюхо, короткая шея, но вместе с тем широкая грудь, широкий круп, крепкие бабки и поджарые сильные ноги, — некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший

овес, нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

— И много вы проехали? — спросил он.

— А что? — отозвался путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.

— Я говорю — вы издалека? — повторил конюх.

— Я проехал пять лье.

— Ого!

— Почему «ого»?

Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

— Потому что если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

— Что вы говорите, друг мой?

— Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошадью в придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней еле держалась.

— Скажите, друг мой, — спросил путник, — нет

ли здесь у вас тележника?

— Как не быть, сударь!

— Так я попрошу вас, сходите за ним.

— Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

— Вы можете немедленно починить колесо?

— Могу, сударь.

— Когда мне можно будет выехать?

— Завтра.

— Как завтра?

— Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

— Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже, чем через час.

— Это невозможно, сударь.

— Я не постою за деньгами.

— Никак невозможно.

— Ну, хорошо. Через два часа.

— Нет, сегодня нельзя. Надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы не сможете выехать сегодня.

— Дело, по которому я еду, не терпит. А что,

если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

— Это как же?

— Да ведь вы тележник?

— Точно так, сударь.

— Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

— Колеса взамен вот этого?

— Да.

— Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

— Так продайте мне пару колес.

— Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

— А вы попробуйте.

— Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас здесь глухое место.

— А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Тележник с первого взгляда догадался, что тильбюри наемное. Он пожал плечами. — Недурно же вы разделываетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.

— А не найдется ли у вас продажного кабриолета?

— Нет, не найдется.

— Как? Даже двуколки? Как видите, я не привередлив.

— У нас здесь глухое место. Правда, — добавил тележник, — есть у меня в сарае старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.

— Я найму пару почтовых лошадей.

— А вы куда едете, сударь?

— В Аррас.

— И хотите добраться туда за один день?

— Непременно.

— Это на почтовых-то лошадях?

— Почему бы и нет?

— А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?

— Нет, это поздно.

— Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь?

— Да.

— Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают, где только можно, и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.

— Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас продажное седло.

— Найтись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?

— Правда, я совсем забыл! Нет, под седлом она не ходит.

— Ну, значит...

— Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?

— Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?

— Да.

— В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся за пятьсот, даже за тысячу франков.

— Как же быть?

— Сказать по чести, самое лучшее, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.

— Завтра будет поздно.

— Ничего не поделаешь!

— Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?

— Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.

— Скажите: неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?

— Целый день, да еще какой работы!

— А если взять помощника?

— Хоть десятерых.

— Нельзя ли связать спицы веревками?

— Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.

— Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?

— Нет.

— Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили.

— Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение — это было ясно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно, полной грудью. Ему показалось. что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в трактире, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю, но разговор происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие

стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановились случайные прохожие. Какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, когда путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

— Сударь! — сказала она. — Правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

— Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет. И поспешил добавить:

— Но здесь его нет.

— Есть, — ответила старуха.

— У кого же это? — спросил тележник.

— У меня, — ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

— И не двуколка это, а настоящая трясучка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее течет; колеса проржавели; и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тильбюри; одно слово-рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т.д., и т.д.

Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад обрадовался при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту

радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший — «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором было что-то лихорадочное и судорожное, как будто у него появилась надежда.

Это был сын той старухи.

— Сударь! — сказал он. — Ведь это я раздобыл двуколку.

— Ну и что же?

— А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

— Ах, это ты, негодный мальчишка? — крикнул он. — Ничего ты не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была резвая и везла за двоих, но стоял февраль, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка

— не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок множество подъемов.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

— Не угодно ли вам позавтракать, сударь?

— В самом деле, — сказал он, — я проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

— Только поскорее, — сказал он, — мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка поспешила поставить ему прибор. Он смотрел на служанку с удовольствием.

«В этом все дело, — подумал он, — я не завтракал сегодня».

Ему принесли еду. Он откусил кусок хлеба, потом медленно положил его на стол и больше

до него не дотронулся.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник спросил его:

— Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было всего пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть множество предметов в первый и последний раз — что может быть печальнее этого и вместе с тем многозначительней! Путешествовать — значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки — тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие — это поворот дороги; и

вдруг приходит старость. Вы чувствуете толчок, вокруг черно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который вез вас, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело; уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал оттуда, — рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:

— До чего заморили лошадь!

В самом деле, бедное животное плелось шагом.

— Вы куда едете, в Аррас? — спросил рабочий.

— Да.

— Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил рабочего:

— Сколько отсюда до Арраса?

— Добрых семь лье.

— Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

— А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, — сказал рабочий. — В четверти часа езды отсюда она загорожена, проезда нет.

— В самом деле?

— Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и,

когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

— Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

— Так вы не здешний?

— Не здешний

— Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, — сказал рабочий, — я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, там и переночуете. А завтра поедете в Аррас.

— Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

— Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Времени было потеряно много — путник это чувствовал.

Стало совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

— Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валек.

— Сударь! — сказал почтарь. — Сломался валек. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

— У тебя есть веревка и нож? — спросил путник.

— Есть, сударь.

Почтарь срезал с дерева ветку и сделал валек.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие черные клочья тумана низко стлались по холмам и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал так, будто кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг словно застыло от страха. Сколько ужаса таит в себе могучее дыхание ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припомнилось другое ночное странствие — по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

На какой-то далекой колокольне пробили часы. Он спросил конюха:

— Который час?

— Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову, — и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, — что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго, — вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить личность обвиняемого, то есть выслушать пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он приедет, когда все уже будет кончено!

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и миновали Мон-Сент-Элуа.

Мрак все сгущался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Испытание сестры Симплиции

А Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейший жар; ее мучили сны. Утром, во время обхода врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и сияли, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла последний стыд и последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отраставших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, дал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая обычно лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, н монахиня услышала,

как из ее груди вырвался глубокий вздох, который говорит о том, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничьего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил мрак. Она была бледна, как смерть, губы у нее посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко:

— Завтра я ухожу, нехорошо он поступил, что не пришел сегодня!

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывает.

А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, как дуновение ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
Вчера мне пречистая дева предстала,
—
Стоит возле печки в плаще золотом
И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала,
—
Я дочку тебе принесла под плащом».
— Скорей, мы забыли купить покрывало,
Беги за иголкой, за ниткой, холстом.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.

«Пречистая, вот колыбель, поджидая,
Стоит в уголке за кроватью моей.
Найдется ль у бога звезда золотая,
Моей ненаглядной дочурки светлей?»
— Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая,
Садись, для малютки приданое шей!
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
— Ты холст постирай. — Где же? — В речке прохладной.
Не пачкай, не порть, — сядь у печки с иглой
И юбочку сделай да лифчик нарядный,
А я на нем вышью цветок голубой
— О горе! Не стало твоей ненаглядной!
Что делать? — Мне саван готовь гробовой.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть: Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице узнать, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина по-прежнему лежала неподвижно; казалось, она вся ушла в свои мысли.

Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, — уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его на

дороге в Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины; сестра задавала вопросы, а служанка высказывала догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесками. Вдруг она крикнула:

— Вы говорите о господине Мадлене? Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

— Отвечайте же! — кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

— Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

— Дитя мое, — сказала сестра, — успокойтесь. лягте.

Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время душераздирающим

голосом:

— Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка прошептала на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».

Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка советовала ей солгать. Она и сама понимала, что сказать больной правду — значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину спокойные, грустные глаза и сказала:

— Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерная радость засияла на лице страдалицы.

— Уехал! — вскричала она. — Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились: она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

— Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут. Я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю,

что нехорошо говорить громко, но, видите ли, милая сестрица, я так рада! Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только: он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она легла, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

— Дитя мое, — сказала сестра, — теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры; испарина встревожила монахиню.

— Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица! Не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту... Мне даже хочется

есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики — хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Вот такие! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка сказать. семь лет! Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее настоящее имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Людям надо всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он приедет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль — это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным! Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой — Скажите: сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о

расстояниях, ответила:

— Я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

— Завтра! Завтра! — повторяла Фантина. — Завтра я увижу Козетту! Знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать.

Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она порозовела, голос ее звучал естественно и живо, на лице сияла улыбка. Она смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери — это почти то же, что радость ребенка.

— Вот что, — сказала монахиня, — теперь вы счастливы, так будьте послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса произнесла:

— Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она уснет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

— Господин доктор! Ведь мне позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

— Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или на два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

— Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, — ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки!

— Дайте руку, — сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

— Ах да! Ведь и правда, вы еще не знаете! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

— Господин доктор! — продолжала она. — Вам сказала сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

— Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком — как знать? — бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много загадочного! Быть может, мы еще и спасем ее.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть — здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

— Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

— А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

— Вы думаете, что ей не под силу будет пуститься в обратный путь завтра утром?

— Помилуйте, сударь! Ей надо отдыхать по крайней мере двое суток.

Он спросил:

— Кажется, здесь помещается почтовая станция?

— Да, сударь.

Хозяйка проводила его в контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него.

— Только не опаздывайте, сударь, — сказал конторщик, — карета отправляется ровно в час ночи.

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны; он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел горожанин с большим фонарем.

После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, но предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

— Сударь! — сказал он. — Скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

— Вы, должно быть, нездешний, сударь, — ответил прохожий, уже почти старик, — пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, — здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

— И суд присяжных тоже заседает там? — спросил он.

— Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большую залу. В этой-то зале и заседает суд.

Дорогой старик сказал ему:

— Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли на широкую площадь, старик показал ему на четыре высоких

освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

— Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это и есть судебная зала. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что, вас интересует это дело? Должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

— Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

— Ах так! — сказал старик. — Вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в комнате, где было много народа и где группы людей вперемежку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой.

Сердце всегда невольно сжимается при виде фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажут-

ся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, темными ульями, где жужжащие привидения сообща замышляют козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одной из приемных зал епископского дворца, а теперь служила залой ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большой залы, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

— Сударь! — спросил он. — В каком положении дело?

— Дело кончено, — ответил стряпчий.

— Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

— Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?

— Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор — обвинительный?

— Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.

— Каторжные работы?..

— Пожизненная каторга.

— Значит, личность установлена? — произнес

путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

— Какая там личность? — ответил стряпчий. — Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Женщина убила своего ребенка, детоубийство доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.

— Так это женщина? — проговорил он.

— Разумеется, женщина. Девица Лимозен. А вы о ком говорите?

— Да так, ни о ком. Но если дело кончено, то почему же зала все еще освещена?

— Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.

— Какое же дело?

— Тоже очень простое. Бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия! За одну физиономию я бы сослал его на галеры.

— Сударь! — спросил путник. — Есть ли возможность попасть в залу?

— Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.

— Где вход?

— Здесь. Через эту большую дверь.

Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли, как раскаленное железо. Узнав, что еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.

Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Рецидивист украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это

человек умный, он даже стихи пишет.

У двери в залу заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:

— Скажите, скоро ли откроют двери?

— Совсем не откроют, — ответил пристав.

— Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?

— Заседание уже началось, — ответил пристав, — но дверей открывать не будут.

— Почему?

— Потому что зала полна.

— Как? Неужели нет ни одного места?

— Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в залу не пустят.

Помолчав, судебный пристав добавил:

— Правда, за креслом председателя есть еще два-три свободных места, но председатель разрешает занимать их только должностным лицам.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через залу ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня,

еще не кончился и каждую секунду вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря набросал одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля-Приморского». Затем быстрым шагом снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:

— Передайте господину председателю. Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля-Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булоне, вышла за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из ста сорока одной

общины Монрейльского округа не нашлось бы ни одной, которая не была бы обязана ему чем-либо. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере-на-Канше. Имя г-на Мадлена с благоговением повторяли всюду. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю-Приморскому, которым управляет такой мэр.

Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное глубоким и единодушным уважением. Когда судебный пристав, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в залу заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании», — председатель живо обернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек, передал ее приставу и сказал: «Пропустите».

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей залы на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон, услыхал он чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку, словно в этих немногих словах таился для него странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного пристава, с которым он только что расстался: «Сударь! Это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний за креслом господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких

коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил.

Судебный пристав ушел. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и вместе с тем грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана-Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым июня II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и

депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его раза три кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от залы заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест, — тот не поддающийся описанию жест, который должен выражать и так ясно выражает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он решительно повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее, в коридоре, в длинном и узком коридоре со

ступеньками и переходами, образовывавшем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, — словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади, он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; весь дрожа, он выпрямился.

И тут, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно его давила непосильная ноша. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет

обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляд.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из залы; но он не слушал и не слышал.

Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.

Он был в зале заседаний.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Место, где складываются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь по сторонам.

Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы развертывались перипетии уголовного процесса во

всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце залы, где он находился сейчас, — судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или полузакрыв глаза; в другом конце — толпа оборванцев; адвокаты, сидящие в разных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обшитые старыми панелями, все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, лампы, какие горят в кабачках и больше коптят, чем светят, сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, уныние; и тем не менее, все это вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной свечами, меж двух жандармов сидел человек.

Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза инстинктивно остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем в тот день, когда, исполненный ненависти и затаив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И он сказал себе, содрогнувшись: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле-Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва все

это заметил. Он был во власти галлюцинации; он смотрел не туда.

Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства — все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж, — нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его, они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся, закрыл глаза и воскликнул в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»

Благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали — Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили приговор ему, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всей залы. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой можно слушать.

В числе присяжных был господин Баматабуа.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. Кроме того, как мы уже упоминали, зала была освещена очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник заканчивал речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось три часа. Уже три часа толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое суще-

ство, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьеррона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, показания совпали, судебное разбирательство внесло полную ясность в это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не просто вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда личность подсудимого будет установлена судом. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая обвинение, видя

единодушие свидетельских показаний, подсудимый, казалось, находился в недоумении. Он или принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками — «Нет, нет», или тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура являла собой олицетворенное отрицание. Он выглядел идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим среди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него неисчислимыми бедствиями В случае если бы личность была установлена, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже закончилось бы обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это-слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время

загадочное, драма была не только мрачной, она была неясной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется супругом, а жена супругой, Париж — средоточием искусств и цивилизации, король — монархом, епископ — святым

Прелатом, помощник прокурора — красноречивым представителем обвинения, защитительная речь — словесами, коим мы только что внимали, век Людовика XIV — великим веком, театр — храмом Мельпомены, царствующая фамилия — августейшей династией, концерт — музыкальным празднеством, начальник военного округа — доблестным воином, который и пр., воспитанники семинарии — нашими кроткими левитами, ошибки, приписываемые прессе, — клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения

вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в одной надгробной речи вынужден был упомянуть о курице и с честью вышел из затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Есть ли хоть одно доказательство противного? Конечно, ветка была сломана и похищена вследствие вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но на чем основана догадка, что этим вором был именно Шанматье? Только на предположении, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти от Жана Матье, — все это совершенно справедливо; наконец четыре свидетеля, не колеблясь, самым

определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить одно — запирательство своего подзащитного, запирательство заинтересованного лица; но если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более, как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый — защитник «чистосердечно» признает это — избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все — и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы благоразумнее и снискал бы этим благосклонность судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно, надеясь спасти себя, не признаваясь ни в чем. Это неправильно, но разве не следует принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги — все это привело его к одичанию и т.д., и т.д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве,

то он, адвокат, не собирается обсуждать его, ибо оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, не то страшное наказание, которое применяется к галернику — рецидивисту, а обычное полицейское взыскание, какое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.

После адвоката выступил товарищ прокурора. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно воспользовался этой лояльностью. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признает, что подсудимый — Жан Вальжан. Что и принято к сведению. Итак, подсудимый — Жан Вальжан. Итак, этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы,

бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из Еженедельника и из Орифламмы; влиянию этой извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Потом он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т.д., и т.д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Терамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера Ведомостей префектуры, продолжал: «И такой человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к сущес°вованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и не поддавшийся исправлению на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр.,

пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез, и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до того, что он — Жан Вальжан. Помимо сотни других улик, которые мы не будем здесь повторять, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его бывших сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шеннльдье и Кошпай. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.

Подсудимый слушал разинув рот, с удивлением и не без восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие, выйдя из берегов, изливается в потоке позорящих эпитетов и поражает подсудимого раскатами грома, он покачивал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители,

сидевшие от него ближе других, слышали, как он несколько раз повторил вполголоса: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!». Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на его придурковатый вид, явно рассчитанный, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие и указывавший со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. В заключение он предупредил, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор означал пожизненную каторгу.

Защитник встал, назвал речь «господина товарища прокурора» «изумительной», потом привел все возражения, какие только мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

— Подсудимый! Имеете ли вы что-нибудь доба-

вить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

— Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении — никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь рука об руку, только бы

согреться; но хозяева этого не любят, — по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченый человек. А мне уже стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. Да и потом в Париже нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» — только и слышишь, как дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались тем, что я стар. Правда, у меня была дочь прачка, стирала белье на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер прямо в лицо; мороз не мороз — все равно приходится стирать; у иных белья мало, и они не могут ждать подолгу: а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка промокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение

закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это очень вредно для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать, — уж очень сильно она уставала. Муж ее бил. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смирная уродилась. Помнится мне, был вторник на масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите, кого хотите. Да что я — «Спросите»! Экий я дурень! Ведь Париж — что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балу, вот съездили бы вы к господину Балу. А то я не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз прервал себя на полуслове, чтобы поздороваться с кем-то, сидевшим в публике. Все свои выкрики, явно неожиданные и для него самого, он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели засмеялись. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха,

тоже засмеялся.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балу, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, совершенно бесполезна. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил внимательно выслушать его слова и добавил:

— Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый! Я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших же интересах точно ответить на следующие два вопроса: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьеррона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки, — другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном? Отвечайте — да или нет?

Подсудимый тряхнул головой с видом смыш-

леного человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

— Для начала...

Потом посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

— Подсудимый! — строгим тоном снова начал товарищ прокурора. — Будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье — девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьеррона и совершили кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Подсудимый уже сел, но когда товарищ прокурора замолчал, он внезапно вскочил с места и крикнул:

— Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Айи, шел после проливного

дождя, земля была совсем желтая, везде лужи, только на краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а на меня все наговаривают и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм — он, видно, славный малый — толкает меня под локоть и шепчет: «Да отвечай же!» А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» — а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы не плохо. Я думаю, мои отец с матерью бродяжничали. По правде сказать, мне я самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои имена, хотите — верьте, хотите — нет. Я жил в Оверни,

жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорят вам, я ничего не крал, я — дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне ваши глупости, и все! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

— Господин председатель! Ввиду сбивчивых, но весьма искусных запирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему не удастся, — об этом мы предупреждаем его заранее, — мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить сюда арестантов Бреве, Кошпайя и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них — допрос касательно тождества личности подсудимого с личностью каторжника Жана Вальжана.

— Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, — ответил председатель, — что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание

и даже наш город немедленно после дачи показаний. Мы разрешили ему это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

— Совершенно верно, господин председатель, — продолжал товарищ прокурора. — Ввиду отсутствия сьера Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этой самой зале несколько часов назад. Жавер — человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть запирательство подсудимого. Я сразу узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершал попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьеррона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа Диньского. В бытность мою

помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я сразу узнал его».

Это не допускавшее кривотолков показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы, ввиду отсутствия Жавера, были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля — Бреве, Шенильдье и Кошпай.

Председатель отдал приказание одному из приставов, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все как один затаили дыхание.

На бывшем каторжнике Бреве была черная с серым куртка — обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его

набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

— Бреве! — сказал председатель. — Вынесенный вам приговор позорит вас, и вы не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

— Тем не менее, — продолжал председатель, — даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я на это надеюсь, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. — Подсудимый, встаньте! — Бреве! Хорошенько вглядитесь в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуясь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек — ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

— Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек — Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освободился в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид, — может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, у меня сомнений нет.

— Садитесь, — сказал председатель, — а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шеннльдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредото-

читься и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильдье покатился со смеху.

— Вот тебе раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина?

— Садитесь, — сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайя. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпай был такой же дикий и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверями, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.

Сделав попытку растрогать его патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

— Это Жан Вальжан, — сказал Кошпай. — У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, — ропот, который все возрастал и становился все более длительным, всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Подсудимый выслушивал их с тем удивленным выражением, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал! «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

— Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

— Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Было ясно, что участь этого человека решена.

— Приставы! — сказал председатель. — Водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

— Бреве, Шенильдье, Кошпай! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий душу ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди залы. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

— Господин Мадлен!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Удивление Шанматье растет

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застег-

нут. Он был очень бледен и чуть дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы повернулись в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. В голосе прозвучала мука, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все еще называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайю, Бреве и Шенильдье.

— Вы не узнаете меня? — спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и отрицательно покачали головой. Кошпай, оробев, отдал честь по — военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:

— Господа присяжные! Прикажите освободить

подсудимого. Господин председатель! Прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я — Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

— Нет ли здесь врача? Потом заговорил товарищ прокурора.

— Господа присяжные! — сказал он. — Необычайный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, достопочтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора

договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, — слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

— Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большой ошибки. Отпустите на свободу этого человека! Я выполняю свой долг, несчастный осужденный — это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и мне этого довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром; я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. О многом я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал епископа-это правда; я обокрал Малыша Жерве — это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем — и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват

в этом. Послушайте, господа судьи: человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым — я стал злым; я был поленом — я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!

Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

— А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы...

Он запнулся, помолчал, колеблясь, потом спросил:

— Помнишь ли ты вязаные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

— Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя! У тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П. К. Р.[28] Но они видны до сих пор. Отвечай: это правда?

— Правда, — ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайю:

— Кошпай! На сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, *первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года*. Засучи рукав.

Кошпай засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе

---

[28] Примечания: 28

П.К.Р. — пожизненные каторжные работы.

поднес лампу; дата была видна.

Несчастный обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

— Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, — сказал он.

В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды и растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель — что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник — что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений, что перед су-

дом стоит настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день. Его появление рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие затруднения потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Впечатление длилось недолго, но оно было непреодолимо.

— Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, — продолжал Жан Вальжан. — Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним

человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, достоверно одно — она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:

— Господин товарищ прокурора! Я в вашем распоряжении.

Затем он повернулся к публике:

— Вы все, — все, кто находится здесь, — наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые оказать ему услугу.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

КНИГА ВОСЬМАЯ

УДАР РИКОШЕТОМ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы

Светало. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула — перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

— Как! Это вы, господин мэр? — воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

— Как здоровье этой бедной женщины?

— Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядков напугала нас.

И тут сестра рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень

худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

— Это хорошо, — сказал он, — вы правильно поступили, что не разуверяли ее.

— Да, господин мэр, — продолжала сестра, — но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка?

Он задумался.

— Бог наставит нас, — сказал он.

— Однако нельзя же солгать, — прошептала сестра.

В комнате стало совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

— О боже! — вскричала она. — Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

— Побелели? — повторил он.

У сестры Снмплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал:

— В самом деле!

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо, думая о другом.

От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

— Можно мне повидать ее?

— А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? — произнесла сестра, с трудом решившись на такой вопрос.

— Непременно, но на это понадобится не менее двух, а то и трех дней.

— Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, — робко продолжала сестра, — то она так и не узнала бы, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко *лжи*.

Господин Мадлен задумался, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

— Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтитель-

но ответила ему, понизив голос:

— Она спит, но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее, сейчас никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что и тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а волосы Мадлена совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг Фантина открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

— А Козетта?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фантина счастлива

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» — задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

— Я знала, что вы здесь. Я спала, но видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, вас окружали ангелы.

Он поднял глаза к распятию.

— Но скажите же мне, где Козетта? — продолжала она. — Почему вы не положили ее ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.

Он бессознательно ответил ей что-то, но впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к Мадлену.

— Голубушка! — сказал врач. — Успокойтесь! Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее

лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

— О, принесите же мне ее! — вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

— Нет, — возразил врач, — не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она перебила его:

— Но ведь я уже здорова, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Вы слышите? Я хочу видеть моего ребенка, хочу и все!

— Вот видите, как вы горячитесь, — сказал врач. — До тех пор, пока вы будете так себя вести, я не разрешу вам держать у себя дочку. Недостаточно увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

— Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня! В прежнее время я бы не стала так разговаривать, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю: вы боитесь, чтобы я не разволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы

вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами со вчерашнего вечера. Знаете, что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым ради меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне Козетту. У меня уже нет жара, я выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ребенка.

Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, — старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не забросать г-на Мадлена вопросами:

— Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О,

какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные! Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? В чистоте ли держали ее эти Тенардье? Как они ее кормили? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в пору нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда хоть на минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...

Он взял ее за руку.

— Козетта красавица, — сказал он, — Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах.

— Не правда ли, Монфермейль — довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардье? В тех краях бывает мало народу. Это не постоялый двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, Мадлен смотрел на нее с тревогой; было ясно, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

— Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее! Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок-дочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие

переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой девочки и услыхала Фантина.

— О! — вскричала она. — Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, Мадлен услышал, как она прошептала:

— Какой дурной человек этот доктор. Он не позволяет мне увидеть мою дочку! У него и лицо злое.

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой:

— Какие мы с ней будем счастливые! Во-первых, у нас будет садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?

Она начала считать по пальцам.

— ...Один, два, три, четыре... сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на малень-

кую женщину. О добрая моя сестрица! Вы еще не знаете, до чего я глупа — я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

Она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал ее слова, как слушают дуновение ветерка, — опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо выглянуло из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно; расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

— Боже мой! — вскричал он. — Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак оглянуться.

Он обернулся и увидел Жавера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Жавер доволен

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из залы аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть залу заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, получит свое объяснение впоследствии и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии

с мнением всех — публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена — другими словами, истинного Жана Вальжана — все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенций, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т.д., и т.д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля-Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было

вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покоробило, что когда-то мэр Монрейля-Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово император, а не Буонапарте.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль-Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек многоопытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать сьера Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то он никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что происходит в его душе, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако, если бы человек, изучивший его, внимательно присмотрелся к нему, он ощутил бы трепет. Застежка кожаного воротничка Жавера, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок — значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он пошел прямо в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую при-

вратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или сыщика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за спиной.

С минуту он простоял никем не замеченный. Внезапно Фантнна подняла глаза, увидела его и заставила обернуться Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хотя он и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Ни одно человеческое чувство не способно вселить такой ужас, какой иногда способна вселить радость.

То было лицо Сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся

тина со дна взбаламученного моря всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции — в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, полицейская совесть, общественная кара — все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; окруженный ореолом, он словно стал выше ростом; в его победе еще жил отзвук вызова и

поединка: он стоял надменный, блистательный; какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем; в грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу — это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок-заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не

могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, в испуге крикнула:

— Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан — отныне мы уже не будем называть его иначе — поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

— Успокойтесь Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

— Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

— Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то исступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он даже не предъявил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнося эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана взгляд, который он закидывал, как крюк, притягивая к себе несчастные жертвы.

Этот взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр здесь. Чего же ей бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

— Эй, как тебя там! Идешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И тут она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер действительно взял за шиворот Жана Вальжана.

— Господин мэр! — вскричала Фантина.

Жавер разразился хохотом, своим ужасным хохотом, обнажавшим его зубы до десен.

— Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:

— Жавер...

— Я для тебя «господин полицейский надзиратель», — перебил его Жавер.

— Сударь! — снова заговорил Жан Вальжан. — Мне бы хотелось сказать вам несколько слов

наедине.

— Громко! Говори громко! — крикнул Жавер. — Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

— Я хочу обратиться к вам с просьбой...

— А я приказываю тебе говорить громко.

— Но этого не должен слышать никто, кроме вас...

Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил быстро и очень тихо:

— Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я уплачу все, что нужно. Вы можете меня сопровождать, если хотите.

— Да ты шутишь! — крикнул Жавер — Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

— За моим ребенком! — вскричала она — Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, ответьте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

— И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

— Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки, она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из горла, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати, потом упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку

ребенка, потом сказал Жаверу:

— Вы убили эту женщину.

— Довольно! — в ярости крикнул Жавер — Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то — наручники!

В углу комнаты стояла старая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновенье ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

— Не советую вам мешать мне сейчас.

Достоверно известно одно — Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на непо-

движно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо, забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно безграничное сострадание. Несколько минут спустя он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно одно сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего. часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило

непостижимое сияние.

Смерть — это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустился на колени, осторожно поднял ее руку и приложился к ней губами.

Потом встал и обернулся к Жаверу.

— Теперь я в вашем распоряжении, — сказал он.

ГЛАВА ПЯТАЯ
По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле-Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что слова — *бывший каторжник* заставили почти всех отвернуться от него. В течение каких-нибудь двух часов все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только *каторжником*. Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день в городе слышались разговоры:

— Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. — Кто он? — Да наш мэр. — Как! Господин

Мадлен? — Да. — Неужели? — Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя — не то Бежан, не то Божан, не то Бужан... — Ах, боже мой! — Его посадили. — Посадили! — В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. — Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? — Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дорога совершенный им в былые годы. — Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему на дороге. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.

Особенно возмущались им в так называемых «салонах».

Одна пожилая дама, подписчица газеты Белое знамя, высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно:

— Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся «г-ном Мадленом». Только три-четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на задоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь — сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. Потом она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Славная старушка проделала это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и воскликнула:

— Господи Иисусе! Подумать только! Я повесила его ключ на гвоздик!

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной,

горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, делая усилие, чтобы у нее не вырвался крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии об этом приключении.

— О господи! Это вы, господин мэр? — вскричала она наконец. — А я-то думала, что вы...

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он докончил ее мысль.

— В тюрьме, — сказал он. — Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела бедной женщины.

Старуха повиновалась.

Он не стал просить ее о молчании; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.

Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротится за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была нелишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, на этот раз, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: «*Вот два железных наконечника моей палки и украден-*

ная у Малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных», потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна — в них он завернул серебряные подсвечники. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения; заворачивая подсвечники епископа, он жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им при побеге.

Об этом свидетельствовали хлебные крошки, найденные на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

— Войдите, — сказал он.

Вошла сестра Снмплнция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день

и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку.

— Сестрица! Передайте это нашему кюре! Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него

— Можете прочесть, — сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное — бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:

— Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз несчастную страдалицу?

— Нет, — сказал он, — за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

— Клянусь господом богом, сударь, что за весь день и за весь вечер сюда не входила ни одна

душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос возразил:

— Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и стал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и уверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал для себя ни возражений, ни ограничений. И, разумеется, духовная власть стояла для него превыше всякой другой: он был набожен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом

отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня — существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. Следующим его побуждением было — остаться и по крайней мере осмелиться задать вопрос.

Перед ним была та самая сестра — Симилиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

— Сестрица! — сказал он. — Вы одна в этой комнате?

Наступила ужасная минута. Бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

— Да.

— Значит, — продолжал Жавер, — простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, — значит вы не видели сегодня вечером одну лич-

ность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

— Нет, — ответила сестра.

Она солгала. Она солгала дважды, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

— Прошу прощения, — сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля-Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик ра-

бочий, который не оставил после себя ничего, кроме блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще несколько слов о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать-земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, — и, может бить, действительно поступил хорошо, — сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым-то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бедняки исчезают без следа. К счастью, бог знает, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с прахом других людей. Она была брошена в общую яму. Ее могила была подобна ее ложу.